

Ширванзаде Александр

Хаос



eMatenadaran.

Александр Ширванзаде

Хаос

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24429750

Хаос:

ISBN 9781772468267

Аннотация

Роман Хаос написан в 1898 году. Ширванзаде описывает жизнь промышленного города. Борьба сословий, разложение семьи, в которой над всеми чувствами господствует жажда денег – таковы основные проблемы, на которых строится сюжет. “Хаос” повествует о трагических жизненных перипетиях одной семьи. Писатель со свойственным ему тонким психологизмом пытается проанализировать причины и истоки человеческой драмы, внешние факторы, влияющие на сложные психологические реалии, их социальные основы. Роман “Хаос” является одним из лучших образцов армянского критического реализма как в художественном, так и в идейном плане.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
1	4
2	20
3	37
4	57
5	74
6	89
7	104
8	123
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Ширванзаде Александр

Хаос

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Маркос-ага Алимян тяжело заболел. Неделю назад, осматривая постройку своего нового, одиннадцатого по счету, дома, он вдруг почувствовал озноб, вернулся домой, слег и больше не вставал. Врачи, внимательно выслушав больного, нашли воспаление легких.

Весть о его недуге тотчас разнеслась по всему городу. Кто не знал землевладельца и нефтепромышленника Маркоса Алимяна, этого тучного, но деятельного и бодрого шестидесятипятилетнего старика! Кому не приходилось слышать назидательную повесть о его многотрудной жизни! Ровно полвека назад, покинув свое глухое селение, он обосновался в небольшом приморском городке, которому в недалеком будущем суждено было стяжать мировую известность благодаря сокровищам, скрытым в его недрах.

Теперь, в последней четверти XIX века, вокруг имени Алимяна сложились целые легенды. Рассказывали, будто в

подвале его великолепного дома имеется особая комната, темная и холодная, как склеп. Ни одно живое существо, кроме Маркоса-аги, никогда еще не отворяло железной двери и не переступало ее порога. Там хранились набитые золотом мешки. Рассказывали, будто каждую ночь мрачный старик, один-одинешенек, в черном ночном колпаке и в длинном бархатном халате, с лампой в руке, спускался в подвал, отпирал заржавленным ключом железную дверь, пересчитывал мешки и прятал в них новую горсть золота. Уверяли, что там, в кованом сундуке, бережно хранятся те самые трехи¹, в которых Маркос-ага вышел из родного села пятнадцатилетним мальчиком. Уверяли также, что в страстную субботу и в сочельник он зажигает две свечи, коленопреклонно молится перед сундуком, благословляя заветные трехи.

Его великолепные дома, гордыми фасадами красовавшиеся на центральных улицах, мозолили многим глаза, бьющая из многочисленных скважин нефть отравляла воздух, а клубы заводского дыма выедали глаза. Но люди знали, как утешить зависть, клокотавшую в их сердцах. Ведь известно же, что Маркое Алимьян был водовозом, привратником, поваром, фруктощиком, виноторговцем и т. д., и т. д. – и ни одного дела не вел честно. Что, исходив всю Россию, он вернулся с пачкой фальшивых денег и потом сплавлял их простакам. Известно, что он обманывал, обирал бедных и даже отравил своего компаньона. Он скуп, руки у него трясутся,

¹ Трехи – обувь из сыромятной кожи (арм.).

доставая деньги из кармана, он не умеет жить, золото стало его верой, божеством. Просторная квартира с голыми стенами стала для его жены и детей мрачной тюрьмой. У него нет ни мебели, ни слуг, ни повара. Провизию Маркос-ага приносит домой сам, рано утром, чтобы никто не видел. В кармане у него кольцо из проволоки, и он покупает лишь те яйца, которые не проходят через это кольцо, и часто ему приходится обходить весь рынок, чтобы купить яйца по сделанной им мерке...

Люди прекрасно знали, что все это сплетни, что в доме Алимяна есть и слуги, и повар, и мебель, да к тому же роскошная. Знали также, что если у Маркоса-аги и есть кольцо, так это только то, которым он нещадно сжимает горло своим должникам. Но черная зависть ослепляла людей, и они без конца измышляли все, что могло хоть сколько-нибудь успокоить сердца, очерстевшие из-за житейских неудач.

Безудержно злословили они, высмеивали и поносили первого миллионера в городе, но только за глаза. А когда Маркос-ага, выпятив круглый живот и переваливаясь как утка, проходил по улицам, заглядывал в магазины или появлялся в клубе, всякий норовил поймать его взгляд, отвесить поклон и удостоиться его надменного кивка. Сам же Маркос-ага, этот бывший водовоз и привратник, был безразличен к приветствиям всех, кроме губернаторского, хозяина города. Уже двадцать пять лет он вознаграждал себя за удары по самолюбию, принимая от других то, что сам двадцать пять лет под-

ряд расточал толстосумам и власть имущим.

И вот сегодня умирает этот именитый горожанин, умный человек, рачительный купец, весь век проведенный в неустанных трудах, доверивший свою совесть железному сундуку и спрятавший душу в карман.

Жил он в центре города. Дом, конечно, собственный, двухэтажный, из тесаного камня, с плоской крышей, залитой асфальтом. Нижний этаж отведен под магазины и контору, в верхнем жила семья Алимьяна.

Стоял сухой, знойный августовский день. Солнце клонилось к закату, и последние лучи его пронизывали лишенный зелени неприветливый город и расстилавшуюся перед ним морскую даль. Тяжелое, гнетущее впечатление производил облик этого города. Издали плоские крыши и голые улицы имели такой вид, точно их опустошил пожар, уничтожив все, что только может уничтожить огонь, оставив лишь один гигантский остов. Кое-где на окрестных песках темнели нефтяные озерки. Ничто не смягчало тропического зноя, даже море. От жгучих лучей накалялись каменные стены, песок, воздух становился нестерпимо горячим и удушливым. Жители спасались от духоты в купальнях; с утра до вечера барахтались в море голые тела, то нежившиеся под лучами солнца, то нырявшие, как дельфины.

Наружные окна Алимьянов выходили на запад. Летом с полудня и до позднего вечера ставни закрывались. Сегодня они были открыты, окна растворены, и уличная духота широким

потоком хлынула в дом.

Здесь царило необычайное смятение. Прислуга и приказчики сновали взад и вперед, покрикивали друг на друга, перебранивались, напрасно стараясь не шуметь. У парадного входа то и дело останавливались экипажи, выходили родственники, друзья и знакомые Алимьянов с притворным или искренним выражением соболезнования на лице.

Все спешили к умирающему миллионеру, надеясь повидать его в последний раз и, быть может, что-нибудь разузнать о его завещании. Но двери в спальню были закрыты. Там, вокруг смертного одра, собрались члены семьи, кое-кто из близких, приходский священник и врачи. Прочие посетители толпились в гостиной. Воздух был до того сперт, что трудно было дышать, однако никто не собирался уходить. От дорогих персидских ковров поднималась тонкая пыль. Солнечные лучи, проникая сквозь занавеси, золотили эту пыль косыми, медленно падавшими столбами. Один из них краем своим коснулся бронзовых часов на мраморном камине. Заискрился овальный стеклянный колпак, обдавая потоками света статуэтку: под колпаком властная красавица с мечом наступала на горло разъяренному льву.

Терпение посетителей постепенно истощалось – ожидали кончины больного, а он все не умирал. Временами то один, то другой наклонялся к замочной скважине и заглядывал в спальню или же, приложив ухо к двери, старался хоть что-нибудь расслышать, потом отходил и начинал шептаться, ис-

коса обмениваясь злобными взглядами. У каждого в душе теплилась слабая надежда: не упомянут ли и он в завещании Маркоса-аги?

Но вот дверь спальни осторожно приоткрылась, и шепот мгновенно оборвался, точно карканье ворон после выстрела. Из спальни вышел мужчина лет шестидесяти, высокий, бодрый, с гордой осанкой. Его гладко выбритое лицо с крупными чертами, пронзительный взгляд, густые брови и особенно пышные с проседью усы, сливающиеся с бакенбардами, придавали ему сходство с николаевским солдатом. На нем был поношенный, выцветший мундир отставного чиновника, в петличке орден.

– Срафион Гаспарыч! – раздалось отовсюду, и все тотчас обступили старика, который в эту минуту походил на горделивого военачальника в окружении телохранителей.

– Бранный мир! Бранный мир! – повторял чиновник, глядя через головы на противоположную стену и поправляя орден. – Человек не может испустить последний вздох, не повидавшись с сыном.

Все удивленно в один голос спросили: – Да разве не все дети около него? – Речь идет о старшем сыне, – простонал Срафион Гаспарыч, грустно покачивая головой.

– О старшем сыне? О Смбате? – взволнованно спрашивали гости, все теснее обступая старика.

– Да, о Смбате, – ответил Гаспарыч. – Он вот-вот должен приехать, ждем с минуты на минуту. Еще неделю назад ста-

рик слышать не мог о нем без отвращения, а теперь не хочет умереть, не простившись с ним.

– Телеграфировали?

– Конечно. Ждем его сегодня. Когда приходит поезд из Москвы?

– В пять сорок.

– Сейчас без пяти шесть; должно быть, уже прибыл, – заметил Срафион Гаспарыч и, взглянув на часы, подошел к окну.

Все, толкаясь, двинулись за ним.

– А вот и он! – воскликнул кто-то.

Срафион Гаспарыч поспешил в переднюю.

Через несколько минут он вернулся с молодым человеком, крепко сложенным, ростом чуть ниже его самого. Все расступились, дали им дорогу, усугубляя выражение притворной печали. Держа соломенную шляпу в руке, приезжий вежливо, но очень сухо раскланялся и поспешно прошел в спальню. Гости снова стали перешептываться, мгновенно заменив грустное выражение лица пренебрежительным.

Кровать больного стояла у окна. С одной стороны ее – жена и дочь, с другой – сыновья. Умиравший полусидел в постели, поддерживаемый мягкими подушками, прикрытый шелковым одеялом, бессильно опустив голову. Врач то и дело впрыскивал ему что-то. Необходимо было хоть на несколько минут удержать жизнь в этом разбитом, развалившемся сосуде.

Больной открыл глаза и с трудом приподнял голову. Лицо его уже приняло землистый оттенок, свойственный мертвецам; характерные впадины в углах губ почти сгладились, полное лицо осунулось и на поблекших губах обозначилась слабая беспокойная улыбка.

Врач на ухо сообщил ему о приезде сына. Приезжий, уронив шляпу и саквояж, опустился на колени перед кроватью и припал к сухой похолодевшей руке старика.

Огонек предсмертной надежды, на мгновенье вспыхнув, озарил мертвенно бледное лицо умирающего; глаза его широко раскрылись и какая-то мимолетная радость оживила черты лица, никогда не выражавшего радости за всю шестидесятипятилетнюю жизнь Маркоса Алимьяна, из бесцветных губ вырвался какой-то шепот, старик обнял кудрявую голову сына и прижал к груди, насколько позволяли слабеющие руки.

Жена Алимьяна зарыдала. За нею – дочь и сыновья. Теперь старик мог кончать счета с жизнью, правда, не спокойно, как ему хотелось, а с неутомимой скорбью в сердце. Целых восемь лет он не видел сына, сына-первенца, на которого возлагал Столько надежд, которого любил больше всех и которому собирался доверить все свои дела. Не только не видел, но и слышать о нем старик не хотел. О, как разочаровал его любимый сын, сколько страданий и душевных мук причинил он ему! Нужны были нечеловеческие усилия, чтобы скрыть все это от недругов и завистников. Будь проклят тот день,

когда он разрешил своему Смбуату уехать в чужие края продолжать ученье! Будь проклята та женщина, которая отняла у него сына!..

Умиравшему хотелось излить горечь, накопившуюся в его сердце, высказать все, все, что он переживал за долгие восемь лет, – высказать, орошая слезами шальную голову беспутного сына. Но силы изменяли ему. Старания врача не могли более вдохнуть жизнь в остывавшее тело. И только долгий пронизывающий взгляд, устремленный как бы из могильной глубины, открыл все виновному сыну, который с трудом сдерживал слезы, чтоб не показаться малодушным. – Один приехал? – еле вымолвил умирающий. – Один, – ответил сын, тотчас поняв смысл вопроса. Мрачная улыбка на лице старика на миг сменилась отблеском надежды: а что, если он мучился напрасно, был неправ, проклиная своего первенца?

Но вот мутный взгляд старика остановился на обручальном кольце сына, и голова Маркоса-аги беспомощно упала на подушку, глаза закрылись.

– Прошлого не воротишь, отец! Благослови! – вымолвил сын глухо. В словах его звучала острая горечь, но не раскаяние.

Никто из окружающих не понял подлинного смысла этих с трудом произнесенных слов и не почувствовал, как терзалось в эту минуту сердце сына, на вид такого цветущего и самоуверенного.

– Будь проклят, если не исполнишь моей последней воли, – вымолвил старик, еле выдавливая слова из немеющих уст.

В эту минуту Маркое Алимян был страшен, как сама смерть, страшен для провинившегося сына.

– Дай сюда, – слышался вновь, замогильный голос старика, и он устремил свой леденеющий взгляд на жену.

Жена достала из-под подушки большой пакет, запечатанный красным сургучом. Стекланный взгляд умирающего остановился на Смбате, и мать передала пакет сыну.

– Будь проклят, если не исполнишь!

Это были последние слова Маркоса Алимяна, прозвучавшие, однако, ясно и внушительно. То были последние всплески уходящей жизни, последние капли иссякающего родника, с особой силой прозвучавшие в иссохшем водоеме. Под холодным дыханием смерти лицо старика слегка исказилось. Горькая, беспокойная улыбка, лишь на секунду появившаяся на его губах, застыла в уголках похолодевшего рта. Владелец миллионов, человек, вызывающий всеобщую зависть, скончался, унося в могилу тяжелую скорбь, половину своего богатства он был готов отдать, чтобы избавиться от этой скорби. И виновниками ее были его собственные дети.

Овдовевшая Воскехат с рыданиями бросилась на холодное тело мужа. За нею – дочь, Марта Марутханян. Брат Воскехат, Срафион Гаспарыч, взяв их обеих за руки, отвел от покойника.

– Бедняжка, истерзался ты из-за детей, измучился вконец! – твердила Воскехат.

Ей вторила дочь.

Срафион Гаспарыч почти силой увел их в соседнюю комнату. Там они могли дать волю слезам и досыта наплакаться. Он пригласил всех туда же. Смбат шел, едва сдерживая слезы. За ним следовали остальные. Тут Воскехат бросилась к только что приехавшему сыну и стала осыпать его жаркими поцелуями. Скорбь ее смешалась с радостью. Потеряв мужа, с которым сорок лет делила горе и радость, она обрела сына, которого восемь долгих лет считала потерянным.

– Исстрадался несчастный твой отец, – повторяла она рыдая. – День и ночь только и твердил: «Сын мой отрекся от веры предков, сын мой осрамил меня!»

Смбат, прислонившись к стене и опустив голову, до крови кусал губы. «Будь проклят, если не исполнишь», – так грозно звучали в его ушах последние слова отца, что он вздрагивал всем телом, крепко сжимая заветный пакет.

Взгляды присутствующих были устремлены на этот пакет, и пристальной всех глядел на него второй сын покойного, Микаэл. Это был молодой человек лет двадцати восьми, хрупкий, худощавый, бледный, с черными как уголь волосами и узкой модной бородкой. Его большие глаза цвета темного ореха были выразительны, умны и в то же время будто безучастны к семейному горю. И в самом деле, его не столько удручала смерть отца, сколько интересовало содержимое

пакета. Он знал, что в пакете отцовское завещание, но что в нем – вот вопрос. Завещание должно решить его судьбу. Порою он нетерпеливо дергался, будто собираясь броситься на старшего брата и вырвать у него пакет, подобно магниту притягивавший все его внимание, все его помыслы.

– А что, если старик выжил из ума и лишил меня наследства? – обратился он к мужчине лет сорока, неотступно следовавшему за ним.

Это был зять покойного, муж Марты, хорошо известный, в городе заводчик и делец – Исаак Марутхянян. Наружность его обличала человека невозмутимого, расчетливого, холодного и эгоистичного. Среднего роста, коротко подстриженные черные волосы, эспаньолка, пышные закрученные сверху усы – такова была его внешность. Щеки его были румяны, как у десятилетнего мальчика. Из-за очков выглядели зеленовато-желтые глаза с выражением не столько умным, сколько коварным и отталкивающим. На пухлых красных губах его играла притворная неприятная улыбка, как бы говорившая: «Не думайте, что я дурак!» Держался он с невозмутимым спокойствием и так высоко задирал голову, словно шея его была зажата в железных тисках. Может, причиной был чересчур высокий и жесткий воротник безукоризненно чистой, накрахмаленной сорочки. На нем был длинный черный редингот, серые брюки и черный шелковый галстук. Зеленовато-желтые глаза его вращались, как у заводной куклы, так же искусственны были и все его манеры и движения.

Смерть тестя несколько не нарушила дремоты его родственных чувств. Умри мгновенно все присутствовавшие у него на глазах, сердце этого дельца ничуть не шевельнулось бы. На рыдания и слезы жены он смотрел равнодушно. Между тем разодетая Марта, прижимая платок к глазам, неумолчно всхлипывала, и не без мастерства. И Маруханян больше чем кто-либо сознавал всю возмутительную ложь в ее дочернем плаче. Он отлично видел, как жена из-под платочка украдкой следит за впечатлением, производимым ее всхлипываниями на окружающих, и в особенности на старшего брата, в руках которого находилось завещание. Никто не горевал искренне, кроме вдовы, а шестнадцатилетний Аршак, самый младший в семье, безучастно разглядывал каждого из присутствовавших, как бы стараясь вникнуть в смысл происходившего вокруг. Вскоре картина скорби стала нагонять на него скуку, и эта скука явственно отражалась на крупных чертах его смуглого лица, выражавшего преждевременную зрелость и даже чувственность.

Вдова со слезами описывала муки покойного. Она обращалась главным образом к старшему сыну и рассказывала обо всем, что происходило в доме за эти восемь лет. Бедняжка, как не хотелось ему бросить на ветер добро, нажитое в поте лица за пятьдесят лет... То есть он не желал передавать его в руки второго сына, Микаэла.

– Не сердись, – обратилась она к Микаэлу, злобно глядевшему на нее. – Я повторяю слова твоего отца. Он боялся, что

не пройдет и года, как ты всех наспустишь по миру, и вызвал из Москвы Смбата. Отец говорил: «Передашь ему, чтобы наставил на путь истинный расточительного брата, присматривал за Аршаком и тебя не оставлял. Скажешь ему, что довольно и тех страданий, что причинил он мне, хоть бы тебя, бедняжку, щадил, щадил твое доброе имя».

«Доброе имя! – повторил про себя Смбат. – Выходит, что это я опорочил доброе имя нашей семьи!»

Вдова умолкла, рыдания заглушили взрывы горьких упреков. Пересилив себя, она снова обратилась к старшему сыну:

– «Зачем он связал жизнь с девушкой чужого племени?» – говорил бедняжка. Заметил ли, сынок, как ему сразу стало не по себе, когда, взглянув на твою руку, он увидел кольцо? Он знал, что ты обвенчался в русской церкви, знал, что у тебя дети, и все же не хотел верить этому несчастью. «Нет, – говорил он, – образумится, разведется». Теперь, сынок, в твоих руках завещание покойного отца, поступай как знаешь, но смотри – не навлеки на себя родительского проклятья. Ты же слышал его? «Будь проклят, если не исполнишь моей воли!» Последнее проклятие умирающего отца нисходит с неба, душа умирающего изрекает его. Бедняжка только хотел, чтобы ты их оставил там и вернулся в родительский дом один. Теперь дело за тобой.

Смбат стоял молча, по-прежнему неподвижный, с пакетом в руке. Слова матери угнетали его, терзали его сердце. Он чувствовал всю ответственность за свой необдуманный

шаг, его последствия, столь тяжкие для родителей. А он сам – разве он за все эти восемь лёт жил спокойно и счастливо? Разве ему меньше приходилось страдать, чем родне?

– А если я не смогу исполнить отцовской воли? – невольно вымолвил он еле слышно.

– И не исполнишь, если ты человек действительно благородный! – раздраженно перебил брата Микаэл.

Взгляды братьев встретились. В глазах Микаэла вспыхнуло какое-то странное злорадство, он лихорадочно покусывал тонкие усы.

Мать с изумлением взглянула на Смба́та: неужели благовоспитанный сын решится нарушить последнюю волю отца?

– Михак! – произнесла она с укоризной.

– Да, – разразился Микаэл, – это ты заставила отца завещать все старшему сыну, а не подумала, какую большую ответственность и какой тяжелый долг ты возлагаешь на него! Теперь ему. остается бесчестие или проклятие отца – выбора нет!

С этими словами Микаэл быстро вышел. Бросив острый, испытующий взгляд на Смба́та, за ним последовал Исаак Марутханян. Спокойная поступь дельца вполне соответствовала его манерам.

– Распечатай и прочти, – обратилась вдова к Смба́ту.

– Нет, прочтем завтра, а пока пусть останется у меня.

Он положил пакет в карман и, тяжело вздохнув, прошел в гостиную, где кое-кто из знакомых дожидался еще в надежде

хоть что-нибудь узнать о завещании.

2

Три дня подряд служили панихиду по усопшему. Люди всех слоев общества приходили отдать последний долг покойному. Никто более не злословил, никто не называл Маркоса Алимьяна обманщиком, обиралой, скрягой, деспотом. Смерть всех примирила с ним, и каждый спешил выразить соболезнование его семье.

Центром всеобщего внимания был Смбат. Все разговоры вертелись вокруг него. Многие говорили, что старик, конечно, прожил бы гораздо дольше, если бы не сердечная рана, нанесенная ему послушником сыном. О-о, предательский поступок сына доконал несчастного! Впрочем, обвиняли шепотом. Никто не решался говорить открыто. Каждый опасался, как бы эти разговоры не дошли до наследника. Ведь уже весь город знал, что бразды правления торгового дома Алимьяна перешли в руки Смбата.

Завещание вскрыли на другой день после смерти Маркоса-аги, как того хотел Смбат. Оно скорее походило на изливание чувств, чем на практические распоряжения. Под диктовку старика все было записано приходским священником, отцом Симоном. Прежде всего покойный наказывал Смбату постараться наставить Микаэла на путь истинный, помочь ему порвать с засосавшей его беспутной и расточительной компанией. Далее завещал ему бдительно следить за пове-

дением Аршака, любить и уважать мать, жить с ней нераздельно под одной кровлей. Затем он просил и молил «исправить ошибку». Что же касается практической стороны завещания, то покойный, за исключением некоторых незначительных пожертвований бедным родственникам и на благотворительные цели, все движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги и поступления предоставлял в распоряжение Смбата. Жену он назначал опекуной младшего сына до его совершеннолетия.

Примечательна была оговорка, касавшаяся наследственных прав Микаэла. Ему было назначено всего сто рублей ежемесячно на карманные расходы, но за ним оставлялось право на непременно получение части наследства лишь в том случае, если он женится на девушке «армяно-григорианского вероисповедания». Иначе – до конца жизни ему придется довольствоваться скудным ежемесячным окладом. А жениться Микаэл мог только при условии, если изменит расточительный образ жизни.

Еще примечательней был другой пункт: Смбат не имел права завещать свое наследство ни «иноплеменнице-жене», ни детям от нее. Если же он разведется с нынешней женою и женится на армянке, дети от нового брака будут считаться законными наследниками.

Завещание разбило немало надежд. Многих оно чрезвычайно огорчило, а больше всех – Исаака Марутханяна. Он рассчитывал, что известная доля наследства достанется его

жене, и теперь был взбешен, но не подавал виду. При оглашении завещания ни один мускул не дрогнул на его лице, только в зеленовато-желтых глазах вспыхнул хищный огонек. Наклонившись к жене, он шепнул: – Завещание незаконно! Она удивленно взглянула на него. Марутханян продолжал:

– Отец твой продиктовал его уже не в здравом уме. Это – не завещание, а поучение, записанное идиотом попом. Суд не утвердит его. Уйдем отсюда. Тут, кроме Микаэла, все станут нашими врагами... Скоро сама убедишься...

И, не дожидаясь жены, Марутханян с гордо поднятой головой направился к выходу.

Притворное соболезнавание родственников, разумеется, сразу уступило место яростной ненависти и вражде. Все ополчились на Смбата.

Выяснилось, что хранившиеся в подвале набитые золотом мешки были плодом пылкой фантазии. Старик оставил наличных средств четыреста – пятьсот тысяч, и то в процентных бумагах. Остальное богатство заключалось в недвижимом имуществе, нефтяных промыслах, заводах и двух пароходах. Не подтвердились также басни о существовании трехов. Распространился слух, будто старик приказал положить их в гроб и так предать его земле. Легковерные люди во время панихиды подходили к гробу Маркоса-аги, чтобы взглянуть на заветные трехи. Однако в гробу ничего не оказалось, кроме желтого трупа в черном сюртуке.

В воскресенье с самого утра в доме Алимянов яблоку негде было упасть. Число желающих нести гроб было так велико, что очередь не дошла даже до Срафиона Гаспарыча – главного распорядителя похоронной процессии. Людское лицемерие выводило его из себя, и он, не стесняясь, громко негодовал:

– Проклятые, пока жив был человек, – злословили, клеветали, отравляли ему жизнь, а теперь вдруг все стали его друзьями! Умерьте ваши аппетиты – Смбата вам не провести!

Обедню служил «либеральный» отец Ашот, молодой, худощавый поп, сотрудничавший в одной из газет, сущее наказание для прочих пастырей! Прибыл глава епархии Епрем Пирвердиан, пожелавший присутствовать на похоронах. Стоя под балдахином, он обдумывал приличествующую случаю проповедь.

Перед гробом, утопавшим в венках из живых цветов, стояли трое сыновей покойного, погруженные в свои думы.

Аршак с траурной повязкой на рукаве озирался по сторонам. Он устал и был голоден, потому что плохо спал ночью и с утра ничего не ел. Апатично слушал он зычные возгласы священников – эти монотонные «аллилуйя» и «мир всем», нестройные напевы дьяконов, позвякивание кадил, шепот густой толпы; равнодушно смотрел на кадильный дым, на сиянье и копоть погребальных свечей. Смерть отца даже радовала его, как избавление от мелочной, скупой и жестокой опеки.

Сердце Микаэла щемило; он осунулся, впадины под глазами углубились и посинели. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. С той минуты, как он узнал содержание завещания, покойник стал ему ненавистен. Теперь Микаэлу чудилось, что холодный и окаменелый труп отца злорадно насмехается над ним, как адский призрак, лишивший его счастья. И в самом деле, разве отцовское завещание – не сплошное издевательство? Объявить под опекой двадцативосьмилетнего мужчину – какому отцу придет в голову подвергнуть родного сына такому жестокому наказанию? О, безжалостный старик! А он-то по простоте сердечной, воображал, что со смертью отца избавится, наконец, от надоедливой опеки и невыносимых попреков, будет жить как ему угодно и свободно распоряжаться наследством! Стоя по правую руку от старшего брата, он чувствовал, что рядом – чужой, незванный гость, пришелец из неведомых далей, насильно вторгшийся в его собственный дом и завладевший его добром, как разбойник. Ведь целых восемь лет этот человек жил в памяти отца только для ненависти и проклятий. Ведь Смбат был изгнан из родительского дома как виновник чудовищного позора, обрушившегося на семью. А теперь!.. Он явился теперь как хозяин, владыка!..

Иное чувствовал Смбат. Погруженный в мрачные думы и опустив голову, он стоял словно приговоренный. Сколько воспоминаний ожило в нем! Тяжелые мысли обступили его в этой родной обстановке, покинутой на долгие годы, где его

сегодня отталкивают, как чужого. Долгие годы? Нет, всего восемь лет. Но ему казалось, что за это время он передумал и перечувствовал гораздо больше, чем за всю предыдущую жизнь. Какая-то несокрушимая стена отделяла его последние восемь лет от прошлого. И никакого сходства между этими отрезками жизни, ни единой общей черты. Еще неделю назад ему казалось, что он навсегда оторвался от близких и больше никогда не вернется под родительский кров. Отец проклял его, с отвращением прогнал и будто забыл о его существовании. Но когда Смбат получил телеграмму, принесшую печальную весть, в его сердце мгновенно все перевернулось. Скупые слова телеграммы сразу воскресили любовь к отцу, подобно тому как пущенный сильной рукой камень будит тишину сонного пруда.

Вновь в глубине его души ожили старые чувства. И теперь он плакал у гроба отца, плакал искренне. Острая скорбь заставляла его время от времени вздрагивать, ему казалось, что это он виноват в смерти старика, он, со своей непоправимой ошибкой. Ведь человек с таким железным здоровьем мог бы жить еще долгие годы – это душевные терзания преждевременно свели отца в могилу.

Однако, скорбя, оплакивая и укоряя себя, Смбат в то же время чувствовал, что стена между ним и окружающими несокрушима...

Взойдя на амвон, епископ начал высокопарно восхвалять покойного за его пожертвования, кстати сказать, весьма

скудные сравнительно с его огромным состоянием.

– Эчмиадзинскому монастырю – пять тысяч, духовной академии – пять тысяч, «Человеколюбивому обществу» – десять тысяч, школе – одну тысячу, богадельне – три. Да будет благословенна незапятнанная память почившего, да воздаст господь сторицей его благородным наследникам, да послужит примером для всех истинных армян сие озаренное светом небесной благодати дело...

Обедня отошла. Отслужили панихиду и понесли гроб на кладбище. Погребальный обряд закончился к трем часам дня.

Вопреки обычаю, установившемуся с недавних пор, вдова Воскехат настояла, чтобы устроили такие пышные поминки, каких еще никто не видывал. Скрепя сердце, Смбат согласился, не желая огорчать мать.

Хотя большинство участников похорон разошлось, просторная квартира Алимьянов была переполнена. Все уже успели проголодаться и с нетерпением ждали обеда еще во время зауспокойной литургии. Расставленные на белоснежных скатертях яства и сверкающие бутылки возбуждали аппетит. Отец Симон, приходский священник Алимьянов, сидевший с «именитыми» горожанами в особой комнате, предложил выпить за упокой души Маркоса-аги. За ним последовали «либеральный» отец Ашот и «консервативный» отец Саак. Возглас «царство ему небесное» пронесся по комнатам, настроив к возлияниям. Начали осушать бокалы, зара-

ботали вилки и ножи. Сперва все напоминало эчмиадзинскую монастырскую трапезную с ее каменными столами: гости ели молча, исподлобья поглядывая друг на друга. Однако первая смена винных бутылок разгорячила головы, языки развязались, и оживление распустилось, как цветы под майским дождем.

Смбат, давно не выдавший подобных пиршеств, переходил из комнаты в комнату и не без любопытства присматривался. Он не был голоден и дивился аппетиту гостей. Многие, хмелея, шутили, смеялись, потчевали друг друга, чтобы и самим выпить лишнее. Чувства Смбата были оскорблены. Какой-то сапожник, осушая бокал, всякий раз толкал локтем соседа, подмигивал сидевшему напротив приятелю и поглаживал грудь, как бы желая сказать: «Ну и вкусное же вино у богача!» Другой, с набитым ртом, рассказывал циничные анекдоты и смешил гостей. Кое-где уже успели залить скатерть красным вином и посыпали ее солью. Наевшись до отвала, рыгали. Некоторые из приказчиков паясничали. Главной мишенью их шуток был «адвокат» Мухан, человек с желтым лицом и распухшим носом, запивавший каждый кусок вином или водкой. С пыльными, всклокоченными волосами, с взъерошенной седоватой бородой, вроде обшарпанного веника, с воспаленными глазами, в грязном выцветшем и потертом сюртуке, Мухан напоминал истопника восточных бань. Изо дня в день у камеры мирового судьи сочинял он за гривенник прошения либо разъяснял статьи за-

конов, а потом всю дневную выручку добросовестно оставлял кабатчикам.

Приказчики кидали в «адвоката» хлебные шарики, метя в большую шишку на кирпично-красной шее. Его трясущиеся руки роняли на пол то нож, то вилку, то салфетку, или куски мяса, и, когда он нагибался, чтобы поднять их, хлебные шарики градом сыпались на его шею.

Раз, когда один из шариков угодил ему в нос, Мухан, побагровев, хотел уже выругаться, но чья-то рука сзади прикрыла ему рот.

– Довольно, наклюкался! – шепнул ему на ухо невысокий человек с желтоватыми волосами и стеклянным взглядом. – Дело у меня к тебе... К восьми часам вечера зайди ко мне.

И тотчас исчез.

Стояла ясная погода. Воздух был теплый. Лучи заходящего солнца пробивались в комнаты, освещая разношерстную толпу гостей.

От дыхания людей, от табачного дыма, пыли, грязи и пота в комнатах стояла тяжелая и неприятная атмосфера второразрядного трактира. Многие из гостей уже охмелели и рыгали, по персидскому обычаю давая понять, что сыты по горло, но тем не менее продолжали жевать: ведь бог знает, когда еще удастся поесть за таким обильным столом.

Обжорство гостей, их оживленные, веселые лица, взрывы беззастенчивого хохота вызывали в Смбате невольное отвра-

щение. Давно не приходилось ему видеть подобного отгаливающего зрелища. Проходя мимо «адвоката» Мухана, он заметил, что этот пропойца опрокинул полный бокал на скатерть и ищет солонку, чтобы засыпать красное пятно. Сидевшие рядом с ним портные гоготали, широко, по акульки, разевая полные рты.

– Я вам покажу перед зеркалом су... – рассвирепел Мухан.

Смбат, подавляя отвращение, поспешил к «именитым». Тут ели также не без аппетита, но пристойно; пили немало, но нешумно и не спеша; смеялись, но не громко.

Отец Ашот с воодушевлением говорил о национальных чаяниях своей паствы и о новых задачах церкви. Его «либеральные» взгляды выводили из себя «консервативного» отца Симона, вообще не выносившего своего молодого коллегу. Вскоре между ними возник спор. Каждый из них старался блеснуть ученостью и этим приковать к себе внимание и симпатии богатых сотрапезников. Между тем богачи только делали вид, что слушают внимательно, – мысли их были заняты наследством, оставленным Маркосом Алимьяном, и собственными делами: у одного в буровой скважине прогнулась труба, у другого проворовался приказчик, третьему завтра предстояло выкупить векселя, четвертый обдумывал, как бы, подобно иным ловкачам, проложить потайную трубу к нефтехранилищу соседа для воровской откачки нефти. Одним словом, всем им было не до просвещенных идей отца

Ашота.

На поминальном обеде присутствовали также некоторые друзья Микаэла. Все они были одеты с иголки. Один из них шепотом описывал соседу прелести недавно прибывшей опереточной примадонны.

– Вчера за кулисами познакомился. Просила навещать... За ее здоровье!..

Это был известный в городе кутила Григор Абетян, прозванный «Гришей». С красным мясистым лицом, толстыми губами, жгучими черными глазами, этот молодой человек любил на шумных попойках швыряться посудой, резаться в карты, хлестать шампанское прямо из горлышка, шататься ночью по улицам под звуки тара и дудука, заирать полицейских и задабривать их взятками. По одну сторону Гриши сидел желтолицый Мелкон Аврумян, нефтепромышленник лет двадцати шести, в чертах лица которого резко проступал страшный недуг сластолюбия, превративший его в скелет. По другую сторону – сонливо-пьяный Мовсес Бабахаян, с головой ушедший в карточный азарт.

– Познакомишь меня, не так ли? – спросил Мелкон Аврумян.

– Ужин и две дюжины шампанского! – поставил условие Гриша,

– Идет.

– Где?

– На поплавке.

– Молодец! Но этого мало.

– Чего же тебе еще?

– Оркестр...

– Будет.

После ужина на баркасе до острова Наргена... Ночи лунные...

– Согласен.

О чем это вы шепчетесь? – вмешался, позевывая, сонливо-пьяный Мовсес Бабаханян.

Мелкон объяснил.

– Чет или нечет? – прохрипел Мовсес Бабаханян, с трудом подымая усталые веки. Он сунул руку в боковой карман вытащил сторублевку и зажал в кулаке.

– Нечет! – отозвался Гриша.

Проверили номер кредитки – он оказался нечетным Мовсес Бабаханян передал деньги Грише.

Микаэл сидел поодаль, рядом с Исааком Марутханяном. Ему казалось, что приятели подтрунивают над ним. Ведь он не раз хвастал перед ними, что после смерти отца будет тратить столько, сколько никто еще не тратил. А сегодня вдруг выясняется, что он не полноправный наследник, а лишь подчиненный брата, с ничтожным жалованьем простого приказчика.

– Как мне быть? Научи, Исаак, как мне быть? – то и дело обращался он к Марутханяну.

Зеленовато-желтые глаза за стеклами очков в эту минуту

глядели задумчиво. Было ясно, что Марутханян обдумывал что-то очень важное. Вдруг он слегка наклонил неподвижную голову и прошептал Микаэлу:

– Вечерком зайди ко мне, дело есть...

– Стало быть, можно надеяться? – обрадовался Микаэл.

– Приходи, потолкуем.

Поминки подошли к концу. Священники прочитали молитву, и гости стали расходиться. Остались только друзья семьи и приятели Микаэла. Они еще ничего не знали о завещании.

На просторном дворе Алимянов собралась огромная толпа голодного люда. Приказчики и прислуга покойного раздавали нищим еду. Царила невероятная суматоха. Грязные, полунагие попрошайки толкались и ругались, стараясь опередить друг друга, чтобы добраться до кухни.

Звон медной посуды, окрики прислуги, шум голодной толпы – все сливалось в общий гул, производило впечатление восточного базара. Грубость, грязь, чад, зловонные лохмотья вызывали отвращение в сытом и безучастном наблюдателе.

Какой-то слепой армянин, размахивая палкой, прокладывал себе путь к вкусно пахнущим котлам. Юный перс оттаскивал его за полу, норовя пробраться первым. Русский инвалид споткнулся, упал на айсорку и в ярости укусил ей пятку. Краснолицый лезгин, безрукий до локтей, бросался от одного к другому, выхватывал зубами куски и проглатывал

их почти не жуя.

Стая бродячих собак, смешавшись с нищими, рыча, обгладывала остатки костей. Приказчики и прислуга пытались осадить напиравшую толпу, но все их усилия водворить хотя бы подобие порядка оказывались тщетными.

Наконец, вся еда была роздана, двери кухни затворились, но толпа не расходилась, – значит, предстояло еще что-то. Вот на площадке лестницы показалась внушительная фигура Срафиона Гаспарыча. Он распорядился поодиночке подпускать к себе нищих. В ушах у него был большой пестрый платок с серебряными монетами. Вдова Воскехат назначила для раздачи нищим сто рублей из своих средств.

Срафион Гаспарыч встряхнул платок, и монеты зазвенели. Привлекательный звон серебра подействовал на толпу, точно электрический ток, и она дрогнула. Все на мгновенье застыли и ошеломленно впились глазами в волшебный платок отставного чиновника. Но вот толпа снова всколыхнулась, загудела и, как стая хищных птиц, кинулась к платку. Теперь уже ни прислуга, ни приказчики, ни даже прибежавшие полицейские не в силах были сдержать напор голытьбы.

Старика окружили со всех сторон. Сотни рук, словно движущийся лес, замелькали в воздухе. Тут были расслабленные, безногие, с невероятными усилиями, ползком пролагавшие себе путь, были обессиленные чахоточные, попадались даже прокаженные, которых чернь не гнушалась. Молодые орудовали локтями и кулаками. Женщины трепали за косы

Друг друга. Персы славословили память покойного и желали ему райского блаженства. Христиане поносили «неверных» и били их нещадно. В оглушительной сутолоке на разных языках раздавалась самая отвратительная ругань; выношенная столетиями в горниле смрада и грязи, эта ругань была как бы мезью природы человеку за извращение естественного правопорядка.

Зрелище заинтересовало многих гостей. Столпившись на балконе, они развлекались, глядя, как попиралось человеческое достоинство. Это были главным образом сынки толстосумов – «золотая молодежь».

– Чет или нечет? – невозмутимо продолжал пытаться счастье Мовсес Бабаханян.

Тут находился и репортер либеральной газеты Арменак Марзпетуни, молодой человек со смугло-желтым лицом и большим носом, в неловко сшитом длиннополном сюртуке складки которого свидетельствовали, что он был извлечен из сундука совсем недавно. Поминки дали ему тему для статьи которую он решил назвать «Контраст». Внизу зрелище ужасающего голода и наготы, где трудно отличить людей от псов. А здесь, наверху, – живое воплощение сытости и довольства. Там – нужда, полуголые тела, море голов, грязных, взъерошенных. Тут – щегольские костюмы, золотые цепочки с драгоценными брелоками, бриллиантовые кольца и булавки в галстуках. Можно было бы пожалеть находящихся внизу, посочувствовать им, но Арменака Марзпетуни больше влек-

ли к себе те, что были наверху.

Репортер подошел к Смбату, наблюдавшему, как толпа набрасывается на крохи с его барского стола.

– Господин Смбат, я намерен сегодня же описать похороны вашего родителя и послать статью в газету «Искра», пользующуюся, как вам известно, всеобщим уважением.

– Как вам угодно, – отозвался Смбат сухо, даже не взглянув на корреспондента.

– Наш долг ознакомить читателя с примерной благотворительностью покойного. Проповедь слышали только здесь, печатное же слово прозвучит по всей стране. И потому, прежде чем написать статью, я бы попросил сообщить мне кое-какие дополнительные сведения.

– Как-нибудь в другой раз, милостивый государь, сегодня не время, – отрезал Смбат и отвернулся.

Репортер метнул ему вслед яростный взгляд и решил: «Теперь-то я знаю, что надо писать, разжиревший буржуа!» Подошел либеральный отец Ашот.

– Прощайте, Смбат Маркич, разрешите заверить еще и еще раз, что отец ваш обессмертил свое имя.

– Господин Смбат лучше нас знает цену деяниям покойного отца своего, – перебил его консерватор отец Симон, на правах духовника неотступно следовавший за Смбатом.

Смбат вежливо, но холодно пожал обоим руки и, повернувшись, отошел.

Отовсюду Смбата провожали десятки завистливых глаз. А

он в эту минуту чувствовал на сердце такую тяжесть, какой еще никогда не испытывал.

3

Сидя в отцовском кабинете, Смбат приводил в порядок дела покойного.

На столе множество бумаг – договоров, счетов, векселей. Знакомясь с делами отца, Смбат размышлял о том положении, которое предстоит ему занять в совершенно новом, незнакомом коммерческом мире. Однако сосредоточиться на этом ему не удавалось, – нечто, другое властно теснило мысли. Мужественное лицо его то морщилось в горькой улыбке, то разглаживалось.

Посреди стола перед ним стояла фотография, прислоненная к чернильнице. Вот они, дорогие существа, на долгие годы оторвавшие Смбата от родного гнезда и навлекшие на него отцовское проклятье. Ужасная дилемма: он ненавидит жену, но любит детей. Прошло всего пятнадцать дней как Смбат расстался с этими бесконечно милыми ему существами, а сколько тоски, горечи, скорби! Он никогда еще так сильно не любил своих детей, никогда! И вот хотят заставить его расстаться с ними, расстаться навсегда, во имя каких-то вздорных законов, каких-то диких предрассудков! Да разве можно вырвать сердце из груди, разлучить душу смелом и... все-таки жить!

Нет, нет! Он не любит жену и давным-давно убедился, что никогда не любил и не был любим. Произошла роковая

ошибка, оплошность, которую он допустил, не разобравшись в своих чувствах, – ошибка, обычная для многих в юности. А когда он понял свою ошибку, было уже поздно, слишком поздно. Что же, разве Смбат, как честный человек, не должен был связать себя законным браком с чистой, непорочной дочерью порядочных родителей, которую соблазнил в минуту увлечения? Наконец, неужели он должен был выкинуть на улицу беспомощное милое существо, которому сам дал жизнь – родное дитя? Зачем, в силу какого морального права? И вот он женился, пожертвовал ради элементарной порядочности темными предрассудками и отжившими традициями родителей, за что был изгнан из отчего Дома и заслужил родительское проклятие...

Теперь он снова у родного очага, но проклятие все же тяготеет над ним. Примириться или же, вырвав собственное сердце, освободиться от проклятия? А потом? Неужели тогда не нависнет над ним еще более жестокое, чудовищное проклятие – вечное проклятие невинных детей? Нет, нет! Он может ненавидеть ту, которую, как ему казалось, когда-то любил, а теперь ненавидит, – но как разлучиться с родными детьми, когда даже хищное животное не покидает своих детенышей? Не легче ли перенести проклятие упрямого и темного отца, насмешки и презрение сородичей, чем стать бесчестным, бессердечным родителем и носить в груди черную змею, а на совести – тяжелый камень?

Смбат снова взял со стола заветную фотографию и при-

жал к губам, не замечая, что мать неслышно подходит к нему.

Вдова на минуту остановилась за спиной сына. Тронутая зрелищем, она грустно покачала головой. Но это мимолетное чувство тотчас сменилось другим, более сильным; бескровные губы Воскехат дрогнули, и из груди ее вырвался тяжелый вздох.

– Твои дети? – спросила она, положив руку на плечо сына.

Смбат вздрогнул, поднял голову и посмотрел на мать, одетую с головы до ног в черное.

– Скажи, это твои дети? – переспросила вдова.

– Да, мама, мои кровные дети, – ответил Смбат, ставя фотографию на место.

– Нет, сын мой, не кровные они, нет!

– Мама! – произнес Смбат укоризненно.

– Да, да, они от тебя, но не твои!

– Мама, не говори так, у тебя тоже есть дети, которых ты любишь.

– Да, любила и люблю. Но послушай, сынок...

Вдова уселась против сына, сложила руки на груди и направила на него взгляд, полный участия. Взгляд этот „слегка смутил Смбата, в сердце его закралась какая-то неприязнь к матери. Ему показалось, что перед ним не любящая мать, а неумолимый судья.

– Сын мой – продолжала вдова, озабоченно вздыхая, – довольно тебе позорить себя, родителей и всю семью. Ты с дет-

ства был умницей. Отец твой знал это, потому и передал тебе свои дела. Неужели ты не понимаешь, что поведение твое противно обычаям наших отцов, дедов иконам нашей святой церкви? Две недели назад отец твой задел вот тут, на этом месте. Бедняжка! Никогда он не был так озабочен и грустен.

«Воскехат, – сказал он, – мне снилось, что я скоро умру, как быть с Смбатом? Не хочется умирать не помирившись». И он горько заплакал. Потом положил руку мне на плечо и заставил поклясться прахом родителей моих, жизнью детей и брата, что я буду молить тебя образумиться. В завещании написано мало, но он говорил много об этом. День и ночь только о тебе, и только о тебе шла речь.

И вдова черным шелковым платком утерла слезы. – Ма-тушка, значит, ты хочешь, чтобы я своих собственных детей вышвырнул на улицу, как лишнюю обузу? – молвил Смбат, с трудом сдерживая гнев.

– Боже упаси, сынок! Зачем бросать? Отец твой мечтал только об одном: чтобы ты иноплеменницу и детей лишил своего имени. Пусть живут как хотят. Слава создателю, покойный оставил такое состояние, что ты можешь обеспечить на всю жизнь и жену и детей. Пусть им перепадет часть твоего наследства, бог с ними!

– Мать, я понял тебя, довольно, больше об этом ни слова! – возмущенно прервал Смбат.

Он встал и, заложив руки в карманы, подошел к окну. «Ни слова!» – но как же молчать матери, страдавшей за сына це-

лых восемь лет, матери, на которую была возложена исстрадавшимся отцом священная обязанность – помочь сыну ступить на верный путь? Как же было не говорить ей, когда над любимым сыном нависло отцовское проклятье? И Воскехат продолжала говорить. Она описывала свои терзания, муки отца, упреки родни и друзей, молчаливое презрение знакомых, проклятия соотечественников и церкви...

Смбат слушал молча, взволнованно шагая по комнате. Когда мать облегчила сердце, он, схватившись за голову, горестно застонал:

Матушка, ты отвела душу, теперь оставь меня одного. Я обдумую, как мне поступить.

– Но ты сегодня же, не так ли, сегодня должен это решить! – упорствовала вдова.

Вошел Срафион Гаспарыч и стал успокаивать сестру. Еще не время решать эту тяжелую задачу. Пусть пройдут Дни траура, а после он сам переговорит с Смбатом, объяснит ему все обстоятельства и убедит исполнить последнюю волю родителя. А сегодня надо принять главу епархии, он выразил желание «лично утешить скорбящего».

– Владыка просил передать, чтоб ты ожидал его, – обратился Срафион Гаспарыч к племяннику.

И действительно, час спустя слуга доложил, что епископ уже выходит из кареты.

Прибытие его преосвященства было обставлено довольно торжественно. Он шествовал в сопровождении молодого ар-

химандрита, всех городских священников и двух ктиторов, как бы желая показать все величие своего сана. Два соперника – краснолицый, крепкий, чернобородый отец Симон и сухопарый, в очках, отец Ашот, подхватив под руки владыку, бережно помогли ему подыматься по устланной коврами лестнице. Епископу было пятьдесят лет. Среднего роста, он был кругленький, тучный как хорошо откормленный боровок. С его мясистого, широкого лица ниспадала длинная, густая борода пепельного оттенка, закрывавшая ему грудь, словно два расправленных орлиных крыла. Из-под блестящего шелкового клобука виднелась пара очень бойких глаз с припухшими красными веками, частично скрытыми под густо разросшимися длинными бровями. По обеим сторонам его толстого носа, с жесткими волосками на кончике, возвышались две синеватые припухлости, заменявшие, ему щеки, – единственные места на лице, где не было волос. На грудь владыки спускалась массивная золотая цепь с большим крестом, осыпанным брильянтами.

Пока епископ с важной медлительностью подымался, постукивая о ступени посохом, его беспокойно бегающие глаза изучали обстановку богатой прихожей. У последней ступени Смбат припал к его волосатой с синими прожилками руке.

Епископ тяжело вздохнул и перевел дух, мысленно проклиная свое толстое брюхо. Но пусть окружающие думают, что этот вздох – выражение глубокого соболезнования осиротевшей родне.

Торжественное шествие, возглавляемое владыкой и замыкавшееся священником в коротенькой рясе цвета лягушки, направилось к гостинице в сопровождении Смбата и Срафимона Гаспарыча. Тут его преосвященство ожидали вдова Воскехат, Марта и несколько пожилых женщин. Все приложились к руке епископа и удостоились его благословения. Отец Симон и отец Ашот усадили владыку в кресло, битое бархатом; он утонул в нем до остроконечной верхушки своего клобука, как литая бомба в клубках ваты.

– Его святейшество патриарх и католикос всех армян, – начал епископ, торжественно отчеканивая слова, – соблагволил прислать кондак с благословением вашему степенству, высокочтимый Смбат Алимян. Я явился, чтобы вручить вам сие святое послание и со своей стороны также, отечески паки и паки воздать благодарность доброй памяти усопшего, а также благословить вас за пожертвования приснопамятного родителя вашего на процветание церкви и на нужды народные.

И, вынув из-за пазухи огромный пакет, владыка высоко поднял его со словами:

– Прочтите, отцы!

Отец Симон и отец Ашот одновременно потянулись к пакету. Отец Ашот, более ловкий, чем его противник, успел перехватить кондак.

– Отец Симон, читай лучше ты, у тебя голос покрепче, – велел владыка.

Отец Ашот, кусая губы, передал пакет своему противнику.

Отец Симон начал читать. Вдова заплакала, за нею последовали другие старухи, хотя ровно ничего не понимали из того, что читалось.

– Сей благословенный дом достоин патриаршего благословения, – изрек епископ по прочтении кондака и собственноручно передал его Смбату. – Не плачьте, сестры, а возрадуйтесь, ибо отныне десница царя небесного пребудет над сим семейством. Да примет всевышний душу покойного в сонм святых и пророков!

При этих словах владыка благоговейно возвел очи. Но тут взгляд его остановился на огромной золоченой бронзовой люстре, спускавшейся с потолка. «Любопытно знать, сколько она стоит?» – промелькнуло в его голове.

Потом он заговорил об эчмиадзинском монастыре, посоветовав вдове Воскехат посетить святую обитель к предстоящему празднику мироварения, добавив, что и сам будет там, чтобы помолиться за паству своей епархии и принести его святейшеству, католикосу, уверения в преданности этой паствы заветам родной апостольской Церкви.

– Грех на моей душе, владыка, великий грех против нашей святой веры, не могу я с чистым сердцем ехать в Эчмиадзин, – проговорила вдова, бросив многозначительный взгляд на окружающих.

Епископ знал семейные обстоятельства Алимьянов. По-

этому, поняв намек вдовы, обратился к сопровождавшим его духовным лицам:

– Отцы, и ты, отче архимандрит, пройдите в другую комнату.

Приказ был немедленно исполнен, и в гостиной остались, кроме епископа и Воскехат, Смбат и Срафион Гаспарыч.

Первой начала вдова:

– Да, великий грех тяготеет над домом Алимянов, и пока не будет он искуплен, никто из нашей семьи не посмеет считать себя подлинным правоверным армянином.

Смбат предчувствовал, о чем будет говорить мать с епископом, а потому заранее решил вооружиться хладнокровием, чтобы не огорчить ее каким-нибудь резким возражением.

Вдова вкратце рассказала все то, что уже было известно епископу: говорила она взволнованно, то и дело прижимая к глазам черный шелковый платок.

– Сын мой не повинен, нет, нет, – заключила она. – Он был молод, его совратили и впутали в беду...

Наивная женщина! Она все еще думала, что ошибку сына можно легко исправить, – стоит лишь ему этого захотеть... Она думала, что только тот брак свят и нерасторжим, который связывает двух единоплеменников и единоверцев, и что только дети, родившиеся от такого брака, могут считаться законными и достойными любви.

Епископ чувствовал себя в затруднительном положении. От него требовалось, чтобы он убедил Смбата нарушить

обет, порвать с женой и бросить детей. Как заставить человека с твердыми взглядами, с университетским образованием решиться на такой шаг, какими словами и доводами подействовать на него?

У его преосвященства участилось дыхание, он вспотел под тяжестью навалившейся на его тучные плечи непосильной обузы. Но все же он заговорил – заговорил об историческом и политическом значении родной церкви, описал гонения ею перенесенные, доказывал необходимость любви и преданности религии для «сохранности нации», но, не дойдя до сути дела, устремил взгляд на бронзовую люстру и замолчал.

Вдова Воскехат тяжело вздохнула, чувствуя, что вопрос гораздо сложнее, чем ей казалось, и вновь прибегла к своему обычному оружию – просьбам и слезам.

– Сними, сынок, с себя отцовское проклятие, избавь себя и нас от напасти! – твердила она в сотый раз одно и то же.

Для Смбата все это было тяжелым испытанием, которое, если бы продолжалось, могло стать непосильным. Он кусал губы, чтобы сдержать крик, чтобы не оскорбить в присутствии епископа мать лишним словом.

– Владыка, – заговорил он наконец, – благоволите убедить мою мать, что не человек, а чудовище тот, кто способен выбросить родных детей на, улицу. Я любил отца, люблю мать, но как могу я во имя этой любви пожертвовать детьми? Владыка, каждый человек сам отвечает за свои поступки и на

этом и на том свете. Если мой шаг – преступление против моего народа, против религии и родины, то я, и только я, должен нести наказание. Проклятие отца я постараюсь снять с себя как-нибудь иначе; я постараюсь быть безупречно честным в отношении семьи, близких, но покинуть детей – никогда, никогда!..

– А коли так, – возьми детей, а жену брось! – не выдержала Воскехат.

– Бросить мать детей?! – вскричал Смбат, не в силах более сдерживать себя. – Что бы ты сделала, если бы у тебя отняли детей? Нет, владыка, ваше вмешательство ни к чему не приведет. Я не могу исполнить требование матери!

При этих словах он встал, давая понять, что не желает более об этом говорить.

Епископу было приятно, что вопрос не усложняется и что он может теперь свободно вздохнуть. Выбрав удобную минуту, владыка тоже поднялся и прочитал молитву, давая понять находившимся в соседней комнате, что беседа на щекотливую тему окончена.

Епископ получил плату «за допущение к его руке» и отбыл с той же торжественностью, с какой прибыл.

Вдова плакала, Срафион Гаспарыч ее утешал.

Четверть часа спустя Смбат снова прошел в отцовский кабинет. Хотя он и был огорчен, но все же чувствовал в душе облегчение. Первая буря, ожидаемая им ежеминутно после похорон отца, оказалась не столь уж сильной. Смбат сумел

противодействовать матери. Теперь ему уже не трудно будет намекнуть на близкий приезд из Москвы жены и детей. Вдова, разумеется, вознегодует, заплачет, будет упрашивать, но это не беда, мало-помалу свыкнется с мыслью о неизбежной встрече с невесткой. Ну, а дальше? Неужели вопрос решен? О нет, нет, не в этом суть: примирится ли он сам, Смбат, со своим положением, если даже предаст забвению отцовское проклятие?

Он не мог более заниматься делом, начал собирать бумаги. Вошел слуга и доложил, что уста Барсег хочет видеть хозяина.

– Кто такой Барсег? – Один из ваших арендаторов. – Пусть войдет.

Посетитель оказался тем самым рыжеволосым человеком, который на поминках подошел к «адвокату» Мухану и попросил его зайти к нему вечером. Он остановился у дверей, сложил руки на груди и отвесил низкий поклон, затем, воровато озираясь, подошел к Смбату и с льстивой улыбкой протянул ему руку. С первого же взгляда вид и ухватки этого человека произвели на Смбата отталкивающее впечатление. – Что вам угодно?

– Доброго здоровья вашей милости, Смбат-бек, – раздался в ответ глухой голос уста Барсега. – У вас дело ко мне? – Маленький счетец, Смбат-бек. – Присядьте.

Гость поклонился, но не сел.

– Ваша милость, как вижу, изволили забыть меня, – зато-

ропился он, устремив стеклянные глаза на хозяина. – Оно, конечно, дорогой ага, столько лет прошло... Только мы вашу милость помним. Во какой был ты, – продолжал гость, держа руку на аршин от полу, – маленький-маленький. А потом подрос еще малость и уехал в Москву. Сохрани тебя господь, теперь ты уже мужчина, да еще какой!.. Как поживаешь, дорогой ага?

– Спасибо. Вы сказали, что у вас есть счет, что это за счет?

Барсег сделал вид, будто не расслышал, и продолжал по-прежнему:

– Бывало, приходил ты ко мне в лавку и бубенчики спрашивал – кошке на шею. Вот под этой самой комнатой наша лавка, миленький, топнешь – и прямо в голове слуги твоего отзовется.

– Вспоминаю, вспоминаю, – нетерпеливо прервал его Смбаг, – вы – уста² Барсег, серебряных дел мастер... Скажите, что у вас за счет, уста Барсег?

– Пришел ты как-то ко мне: «Сделай удочку, уста Барсег, рыбу ловить». – «Со всем нашим удовольствием, говорю, сделаю, голубчик ты мой». Засел я, провозился целый день, смастерил хороший серебряный крючок и подарил тебе. Ну и обрадовался же ты, миленький...

– Уста-Барсег, вы про какой-то счет говорили...

– На другой день ты прибежал опять: уста Барсег, говорят, мол, серебро фальшивое. Уж и не знаю, кому это нужно бы-

² Уста – мастер.

ло сказать, что уста Барсег фальшивое серебро за настоящее выдает... Помнишь?

– Что у вас за счет, уста Барсег? – воскликнул Смбат раздраженно.

– Счетец? – небрежно переспросил гость. – Да, заговорился и забыл о нем. Счетец, Смбат-бек, на имя Микаэла Маркича... Счетец, голубчик ты мой, маленький, очень маленький... Но Микаэл Маркич все тянет... Вот уже три дня просим-молим... не оплачивает...

– Не оплачивает? Значит, он вам должен?

– Именно должен, голубчик ты мой. Ежели не отдаст, конечно, помолчим, но ведь он должен по векселю...

– По векселю?

– Чисто... На предъявителя!

– Сумма?

– Для вашей милости – сущие пустяки, цена костюмчика, вечерок в компании. Для нас же, голышей, целая казна, Царство, сад Гарун аль Рашида, ха-ха-ха!..

Смех этот был до того сух и неприятен, что Смбат почувствовал невольное омерзение. Однако он уже был заинтригован словами посетителя.

– А ну-ка, покажите вексель, – протянул Смбат руку.

Барсег, озираясь, вытащил из бокового кармана истертый бумажник. Из пачки каких-то бумаг осторожно извлек вексель, развернул и, держа крепко за уголки, поднес к глазам Смбата.

– Да, это подпись Микаэла, – подтвердил Смбат. – Вы не бойтесь, я не отниму, хочу только взглянуть на какую сумму.

Смбат изумился. Вексель был на семь тысяч рублей, – сумма, несомненно, превосходившая все состояние заимодавца.

– Уста Барсег, вы и теперь занимаетесь вашим ремеслом?

– Да, голубчик мой, как был ремесленником, так ремесленником и остался: постукиваем молоточком, – семью сохраним, пятеро детей... Вот уже года два как шкафчик завели, разложили в нем кое-что из золота и серебра и тешимся, будто и мы чем-то торгуем...

– А может быть, Микаэл у вас золотые вещи брал?

– Нет, жизнью твоей клянусь, наличными. Клянусь драгоценной жизнью твоей, у детей изо рта вырывал – ему давал...

– Уста Барсег, вы ему ровно семь тысяч дали или меньше? – спросил Смбат, бросив пронизательный взгляд на посетителя.

Уста Барсег смутился, но лишь на мгновение. Тотчас овладев собой, он ответил улыбаясь:

– Конечно, голубчик ты мой, дал я немного меньше, но вся-то сумма семь тысяч серебром.

– Я вас прошу сказать, сколько вы дали наличными деньгами? Ведь вексель содержит и проценты?

– Проценты, понятное дело, а то как же без процентов... Но долг Микаэла Маркича – ровно семь тысяч рублей.

– Когда истекает срок?

– Срок? Да сегодня. Уже шестнадцать дней прошло, как помер Маркос-ага, царство ему небесное! Клянусь твоей жизнью, мы денно и нощно за него молились. Но что же поделаешь, – ни нам от смерти не уйти, ни смерть нас не забудет. Видно, так богу было угодно...

– Что вы хотите сказать, уста Барсег? Не пойму я вас.

Ясно как день, Микаэл-ага обещал уплатить спустя несколько дней поселе смерти отца.

Смбат вздрогнул. Он понял чудовищный поступок брата, делавшего ставку на смерть отца. Несомненно, этот Барсег, кровопийца-ростовщик, воспользовался стесненным положением расточительного молодого человека и ссудил деньги под чудовищные проценты, с обязательством уплаты тотчас после смерти старика. Но кто из них омерзительней – должник или кредитор?

– Ладно, – сказал Смбат, – повремените до завтра, я переговорю с братом, и после увидимся.

– Нет, нет, молю тебя! Микаэл Маркич не должен знать, что мы приходили к вашей милости. Упаси господи! Буйный он человек, убьет меня и пустит по миру моих детей...

– Ступайте! Приходите завтра – получите деньги.

– Да, голубчик ты мой, завтра покончим. Пятеро детей, старуха мать, сестры, братья, племянницы, племянники – целая орава у меня. По судам бегать неохота. Лучше по-хорошему, сам Христос так велел. Дай бог царство небесное Маркосу-аге, отменный был человек, очень нас любил, каждый

день заходил ко мне в лавку. Мы тоже к услугам вашей милости под сенью вашей и живем. Прости за беспокойство, не сердись, голубчик, уходим без разговора, завтра явимся, просим прощенья...

И уста Барсега, пятясь к двери и отвешивая низкие поклоны, выкатился из комнаты.

В тот же вечер между Смбатом и Микаэлом произошло первое столкновение. Микаэл без стеснения сознался, что занял у Барсега всего одну тысячу, выдал же вексель на семь. Ничего другого не оставалось – нужны были деньги. Он поступил так же, как поступали многие дети скупых родителей. Не мог же он морить себя голодом, будучи сыном миллионера, когда его друзья тратили тысячи, десятки тысяч. А сейчас, когда он наконец, имеет право на свободное, независимое существование, вместо одного деспота является другой. Нет, это невыносимо и оскорбительно. Отец оставил незаконное завещание, и он, Микаэл, разумеется, не будет сидеть сложа руки, он примет необходимые меры, а пока что Смбат, без лишних слов, должен заплатить уста Барсегу, иначе дело поступит в суд...

Смбат принялся разьяснять, что ему и в голову не приходило стать деспотом Микаэла, что они равные братья и обязаны помогать друг другу добрыми советами. Но ведь жизнь Микаэла – это духовное банкротство, нравственное падение, разложение. Пусть посмотрит на себя в зеркало. Так продолжаться не может – это оскорбление для семейной чести.

– Наконец, мы не имеем морального права ради нашего удовольствия бросать на ветер состояние отца, нажитое в поте лица.

– В поте лица! – повторил Микаэл с горькой усмешкой. – Ты убежден, что наш отец нажил миллионы честным путем?

– А ты сомневаешься?! – воскликнул Смбат удивленно.

– Я? Я-то убежден, а вот ты – нет.

– Что ты хочешь этим сказать?

– А то, что ты в душе считаешь нашего отца эксплуататором и в то же время не стесняешься пользоваться его богатством.

– Микаэл!

– Зря ты оскорбляешься. Хочешь, я покажу твои письма из Москвы, после того как покойный отказал тебе в деньгах? Ты писал, что в наши дни нельзя разбогатеть честным путем. Ты обвинял отца в эксплуатации трудового люда, в жадности и скупости, я же отвечал, что богатство Маркоса Алимяна не результат чужого труда, а игра случая, дар судьбы, лотерея. Я защищал, ты – наносил удары! Скажи же теперь, кто из нас более достойный наследник, – я, ведущий расточительный, распутный образ жизни, или же ты с твоими экономическими воззрениями и вычитанной из книг философией? – Не знаю, может быть, – ты...

– Да, я! Дай в таком случае мне пользоваться наследством. Отойди от дел и передай мне богатство, накопленное эксплу-

атацией. Ты – человек образованный, я – неуч, ты – умен, я – дурак, деньги дураку и нужны, ведь умный сам может их заработать. Вот ты козыряешь своей безупречностью и воздержанностью, но забываешь житейские условия, в которых мы росли. Тебя в двенадцать лет вырвали из дурного общества и отправили в Москву. Жил ты там в лучших семьях, воспитывался у лучших учителей, окончил университет. Меня же держали тут, в этом поганом городе, и, не получив по твоей милости никакого образования, я попал в дурную среду.

– По моей милости? – прервал его Смбат. – Да, именно, разве ты этого не знал? В тот самый день, когда отец узнал, что ты женился не на армянке, он поклялся не только не посылать остальных детей в Россию, но и вообще не отпускать их от себя ни на шаг. Вот почему я лишился тех добродетелей, которыми ты теперь гордишься. Да, да, ты умен, ты получил высшее образование, ты можешь себя обеспечить честным трудом, а вот я не могу, ведь я – невежда, дурак, ни к чему не способен. Именно мне, а не тебе, пристало проматывать богатство, добытое чужим горбом. – Но ведь я обязан исполнить волю, выраженную в завещании отца?

Микаэл расхохотался.

– Обязан исполнить волю! – повторил он, всплеснув руками и покачав головой. – Ай-яй-яй, нечего сказать, похвальная покорность! Обязан? Так выполни в первую очередь главный пункт завещания; разведись с женой и брось детей! – Это тебя не касается!

– Пусть так. Если тебе угодно, отныне не буду говорить об этом, но при одном условии, чтобы ты тоже не надоедал мне своими наставлениями, не имеющими для меня ни малейшей ценности.

– Но я обязан тебя наставлять, такова воля не только отца, но и матери.

– Почему? Потому что я шарлатан, а ты порядочный человек, я беспутный, а ты нравственный, да? Потрудишься же, нравственный человек, пройти к матери и посмотреть, из-за кого бедняжка проливает слезы. До свиданья, завтра без лишних слов уплатишь уста Барсегу мой долг, отберешь вексель, а для меня приготовишь пять тысяч рублей. У меня есть и другие долги – все оплатишь и запишешь за мной. Он вышел, бросив на брата взгляд, полный презрения. Смбат возмущенно ударил по столу и поднялся. Вот как! Даже этот испорченный до мозга костей юнец укоряет его, тычет ему в глаза его непоправимой ошибкой. Но что поделаешь? Как тут наставить брата на «путь истинный», когда он сам не выполняет возложенного на него посмертной волей отца тяжелого обязательства?

«А все-таки я приберу тебя к рукам», – решил Смбат про себя.

Как! Долгие годы играть роль заурядного приказчика, томиться под пытливым взглядом упрямого и мелочного старика, придумывать всякий раз небылицы для оправдания расходов, порою с нечистыми руками подходить к отцовскому сундуку и волей-неволей жаждать смерти родителя в надежде, что она освободит от ненавистного гнета, – и что же! Умер в конце концов отец, оставив огромное наследство, а он, Микаэл, неожиданно оказался лишенным законных прав и очутился под новой докучливой опекой?

Нет, нет, это невыносимо, оскорбительно для Микаэла, этого удара он не перенесет. Что скажут его друзья и приятели? Не вправе ли они смеяться, издеваться над ним? Нет, нет, он не покорится безмолвно воле старшего брата, он равный наследник. Что за бессмысленное завещание! От него требуют изменить образ жизни, жить по прихоти полупомешанного старика и жениться на армянке, чтобы вернуть себе наследственные права. Жениться в такие годы, когда его друзья свободны от брачных пут, а те, кто женился, уже раскаиваются, как, например, Мелкон Аврумян и многие другие. К чему ему лезть в ярмо, плодить лишние рты и ежедневно слышать «папа, папа» – это глупое смешное слово, приятное для тупиц и несносное для тех, кто умеет ценить блага жизни и пользоваться ими. Нет, Микаэл теперь неза-

висим, свободен и хочет остаться таким, – холостая жизнь ему еще не прискучила!..

Занятый этими мыслями, Микаэл чувствовал, как в его сердце с каждым днем растет ненависть к брату, и он придумывал всевозможные планы, чтобы выйти из-под опеки старшего брата.

Смбат уже уплатил долг Микаэла уста Барсегу, отобрал вексель и передал брату, но в просимых им пяти тысячах отказал.

Время шло к полудню. Полчаса назад Микаэл снова попросил денег у брата и снова получил отказ. Теперь он взволнованно шагал по своей комнате, самой комфортабельной в доме Алимянов. Тут были изысканные белуджистанские ковры, подушки, подушечки, кресла, обитые нежнейшей хорасанской и кирманской шалью и парчой. Перед одним из окон, задернутых плотной шелковой занавесью, стоял большой письменный стол, обремененный массивным серебряным, чернильным прибором, разными статуэтками и альбомами в дорогих переплетах. В углу – роскошный книжный шкаф, набитый сочинениями русских поэтов и прозаиков в золоченых переплетах. Бросалась в глаза также переводная литература. Через сводчатую дверь виднелась спальня, устланная мягкими коврами. Там, в углу, – постель, покрытая шелковыми одеялами и вышитыми накидками. На ней – пять-шесть подушек, сложенных горкой. Можно было подумать, что это ложе шикарной кокетки, если бы стена на-

против не была увешана оружием. В другой комнате стоял туалетный столик, уставленный всевозможными флаконами, пузырьками с розовой водой, гребнями, щеточками и ножницами.

В оформлении этого уютного уголка большое участие принимала Воскехат. Это она убедила мужа не останавливаться перед расходами, чтобы сделать приятное сыну: ведь то, что тратится на убранство дома, зря не пропадет, да и Микаэла можно этим постепенно приучить к оседлости и вызвать в нем желание обзавестись семьей. Но пышная обстановка льстила тщеславию Микаэла и только. Ему было приятно, что иные из его друзей завидовали, когда он угощал их вином в золоченых кубках или же, открывая карточный столик, ставил на него золотые подсвечники.

Отворилась дверь, и вошел Исаак Марутхянян с вкрадчивой улыбкой на румяном лице.

– Наконец-то! – воскликнул Микаэл по-русски и знаком пригласил гостя сесть. – Ну, говори, какие новости?

– Смотря, что тебя интересует, – ответил Марутхянян, подбирая полы сюртука и усаживаясь в кресло.

– Что же еще может меня интересовать, кроме этого дурацкого завещания?

– Понятное дело, – проговорил Марутхянян, медленно снимая перчатки и бросая их в шляпу. Он осмотрелся по сторонам. – Надеюсь, никто нас не услышит?

– Не беспокойся. Хочешь, закроем двери.

– Не худо бы.

Микаэл подошел к двери и повернул ключ.

– Вопрос ясен, – начал Марутханян, взяв со стола папиросу. – Прежде всего ты должен дать мне честное слово, что все, о чем мы будем говорить, останется между нами.

– Излишняя осторожность. Я себе не враг.

– Молодцом! Тебе известно, дорогой мой, что я не похож на здешних горе-купцов. Я – юрист, хотя и без высшего образования, но не хуже любого присяжного поверенного разбираюсь в законах. Меня знают и здесь и в Тифлисе. Этим я хочу сказать, что если берусь за какое-нибудь сложное дело, то уж довожу его до конца, действуя осторожно и обдуманно: семь раз примерю, один раз отрежу.

Пустив в потолок клуб дыма, он уставился желтовато-зелеными глазами на Микаэла.

– Хочешь, чтобы завещание было признано незаконным и утратило силу?

– Конечно, хочу! – ответил Микаэл с жаром. – Отлично. Но для этого потребуются ряд условий. – Например?

– Во-первых, твердость воли, хладнокровие, а затем умение лицемерить и ловко лгать.

– Лгать? Разве это необходимо?

– Безусловно! Деятнадцатый век, милый ты мой, век лжи, а век этот еще не кончился. Нынче лгут все, и особенно, те, кто восстает против обмана.

– Ну, а дальше? Изложи свой план. – Сию минуту. Твой

старший брат, Смбат, вот уже три дня как судебным порядком утвержден в правах наследства. Отныне ты его раб в полном смысле этого слова. Так или нет? – Допустим, что так.

– Допускать нечего, по точному смыслу закона это так. Отец твой назначил тебе ежемесячно сто рублей – жалованье повара средней руки. Ты можешь вступить в наследственные права лишь после женитьбы. А жениться разрешается тебе лишь в том случае, если ты станешь серьезным, рассудительным человеком, ха-ха-ха!.. Этот пункт завещания весьма эластичен и обличает наивность того, кто писал, и невежество того, кто диктовал. Скажи, пожалуйста, если ты совсем изменишь образ жизни, то есть бросишь пить, играть в карты, волочиться за женщинами, напустишь на себя важность, как ты можешь доказать, что ты на самом деле изменился? При желании Смбат всегда может возразить: дескать, ты остался тем же, каким был и при жизни отца. Это – во-первых. Во-вторых, разве ты согласился бы жениться? Уверен, что нет. Ты принадлежишь к категории мужчин, для которых слово «женитьба» звучит так же фатально, как для меня «Сибирь» или «Сахалин». И на кой черт жениться тебе, когда к услугам таких, как ты, жены дураков. Итак, этот пункт завещания, как видишь, твоя гибель, намыленная петля... И вот я со своим планом иду тебе навстречу. Мой план хоть и наскоро составлен, но все же лучше этого идиотского завещания, мой план так или иначе может изменить твою судьбу.

– А что за план?

– Другое завещание, так сказать, контрзавещание.

– Где же его взять?

– Вот в этом-то и загвоздка! Допустим, что контрзавещание составляется с полного твоего согласия, по моему плану и при участии двух таких помощников, из которых каждый мастер своего дела и никогда еще не был уличен ни в чем. Только ответ – хочешь ли стать полноправным наследником богатства, оставленного твоим батюшкой, или же предпочитаешь быть рабом брата?

– Говори скорее, бога ради! – воскликнул Микаэл, которому казалось, что зять шутит.

– Контрзавещание, разумеется, будет составлено зад ним числом, и на нем, понятно, будет подлинная подпись покойного. Это не так трудно, как тебе может показаться. Ты мне дашь образчик почерка отца, лучше всего подпиши под какой-нибудь бумагой, а уж остальное дело мое и моих помощников. Согласен?

– А каково будет содержание контрзавещания? – поинтересовался Микаэл, убедившись, что Марутхянян вовсе не шутит.

– Весьма любопытное, психологически весьма правильное, весьма ясное и справедливое, – ответил Марутхянян, поправляя свой красный галстук. – Прежде всего о размере наследства. По самому скромному подсчету оставленное покойным недвижимое имущество я оцениваю в три с полови-

ною миллиона. На четыреста пятьдесят тысяч процентных бумаг и приблизительно столько же наличными. По контрзавещанию наличные деньги, процентные бумаги вместе с обстановкой этого дома достаются тебе. А вся недвижимость, как то: нефтяные промысла, дома и завод, то есть их стоимость или же доходы с них, делятся на три равные доли: одна – опять-таки тебе, другая – твоему младшему брату, Аршаку, третья – сестре, то есть моей жене... Что касается матери, то она, согласно закону, получает седьмую часть. Думаю, что более справедливого и законного завещания нельзя и представить.

– А Смбат?

– Было бы неосмотрительно упоминать о нем в завещании. Все знают, что он был проклят и изгнан, естественно, Смбат должен быть обделен. Выиграв дело, мы назначим ему постоянный оклад или же дадим некоторую сумму, и тогда нас же будут хвалить за великодушие. – Но выиграем ли мы дело?

– Может, выиграем, а может, и нет. Если не выиграем и обман обнаружится, нас потянут к уголовной ответственности.

– Нет, нет, я на это не пойду! – воскликнул Микаэл, ужаснувшись.

Марутханян иронически улыбнулся.

– Но ведь мы без всякого сомнения выиграем дело, – проговорил он с полным спокойствием. – Ты послушай! Где бу-

дет рассмотрено дело? Ясно, в губернском суде. Вот тут-то и зарыта собака. Кем выносятся решение? Лишь дураки и идиоты верят в справедливость. А я наперечет знаю всех членов суда, знаю также, до чего они падки на взятки. Взятка – вот та великая сила, что движет совестью судей и законами. Мне же известны приемы, как подкупить членов суда и других, начиная от швейцара и кончая председателем.

– А если нам не удастся подкупить? – спросил Микаэл с нетерпением.

– Тогда мы прибегнем к другому средству, – предложим пойти на мировую.

– Кому?

– Смбату.

– Каким образом?

– Прежде всего припугнем его слухами о контрзавещании. Мною уже кое-что предпринято в этом направлении. Затем появится на свет контрзавещание. Смбат, увидя подпись покойного батюшки и выслушав мои показания, придет в ужас, и мы прижмем его к стене.

– Выходит, что ты мне предлагаешь пойти на мошенничество?

– Дорогой мой, – сказал Марутханян, снова поправляя галстук, – на свете много ложных понятий и ложных чувств. Мошенничество – понятие растяжимое. Разве не мошенничество – опозорить имя родителей, изменить вере отцов, погубить будущность детей за ласки какой-то распутницы, по-

носить родного отца при жизни, а после смерти завладеть его богатством, обобрав законных наследников? Своими махинациями я хочу восстановить справедливость, как дипломат, который правдой и неправдой спасает свое отечество. Впрочем, зря я затягиваю, воля твоя, не хочешь, – что я могу поделать? Ступай и пей воду из рук брата, как глупый баран...

– А не слишком ли много придется на долю твоей жены?

– Доля долей, а мне за труды? Неужели, рискуя своей репутацией, я должен остаться при пиковом интересе?

– Ведь говорил же ты: семь раз примерь, да раз отрежь, – значит, ты не очень рискуешь.

– Будущее покажет... В этом деле главная роль принадлежит тебе. Впрочем, нечего канителить: либо да, либо нет!

– Ладно, делай как хочешь, но только обойдись без меня. По судам таскаться мне неохота, да и вообще твой проект мне не особенно улыбается. Это дело темное.

– Оно сделается ясным, раздобудь только мне одну подпись покойного или лучше несколько...

– Хорошо, – согласился Микаэл, – сегодня же разыщу и дам.

– Вот за.это хвалю! Надо, милый мой, действовать, действовать!

Покидая Микаэла, Марутханян в дверях едва не столкнулся с Гришей. Толстяк, почтительно пропустив Марутханяна, вошел, устало отирая платком пот с покрасневшего лица и шеи, и с плечами ушел в кресло.

– Ох, – простонал он, насилу переводя дух, – подниматься по лестнице – мученье! У порядочных людей Дом должен быть без лестниц... Черт бы побрал этих врачей, пристали: ходи да ходи, чтобы похудеть? Каково мне таскать этот бурдюк! Собираемся у Кязим-бека, дружок, пей уксус: большой дебош предстоит. Кстати, когда сороковины?

– Кажется, через неделю.

– Так я ему и сказал. Значит, в то воскресенье мы воздадим памяти покойного последние почести, а во вторник снимем с тебя траур. Однако к делу. Я пришел просить тебя сегодня вечером ко мне – предстоит небольшая партия в баккара. Вели подать стакан воды.

Лакей принес бутылку нарзана, и Гриша напился прямо из горлышка. Потом он уговорил Микаэла отобедать в гостинице «Еврона», – там будут артистки недавно прибывшей оперы во главе с очаровательной примадонной Барановской.

– Ну, я передохнул. Аида, пошли! Стояла теплая погода, хотя и было начало октября. Друзья прошлись по центральным улицам и дошли до квадратной площади, служившей местом прогулок. Отвечая на приветствия многочисленных знакомых, Микаэл уже воображал, что всем известно о завещании: не смеются ли над ним, а может быть, и сочувствуют?..

– Ступай в гостиницу, мне надо протелефонировать койкому о сегодняшнем баккара.

И Гриша скрылся за дверью ближайшей конторы. Мика-

эл свернул на узенькую улицу, потом на другую и, остановившись перед новым одноэтажным домом, призадумался. За последнее время, проходя мимо этого дома, он всегда на несколько мгновений задерживался и засматривал в окна.

Сегодня на улице было почти пусто. Лишь изредка показывался прохожий или извозчик, и снова наступала тишина. Микаэл почувствовал приятное волнение, кровь в его жилах заиграла, наполняя тело приятной истомой. Сняв пальто, он перекинул его через руку. Сердце забилося, в висках застучало, как в жару, глаза загорелись, губы подергивались.

У окна стояла женщина и, улыбаясь, глядела на Микаэла. Вот эта самая улыбка и зажгла в нем кровь. Женщина была высокая, широкоплечая, с крупными, но привлекательными чертами; отличительной особенностью ее лица были нежные, едва заметные усики, пленявшие Микаэла.

Он подошел к окну.

– Где это вы пропадали? Что вас давно не видно в наших краях? – произнесла дама густым, бархатным контральто.

Казалось, ей надо было быть мужчиной, а этому молодому, женственно хрупкому человеку, так нежно пожимавшему ей руку, скорее пристало родиться женщиной. Словно природа перепутала их оболочки, как пропойца-портной, надевающий заказчику платье, скроенное на другого. – Занят был домашними делами.

– Вы – и домашние дела! – усмехнулась дама, облакачиваясь на подоконник и наклоняясь вперед.

– Ведь я же в трауре, – отозвался Микаэл, жадно глядя на ее чуть видневшуюся полную грудь необычайной белизны. – А-а, понимаю, заняты делами, завещание... Но...

– Как поживаете, сударыня? – перебил Микаэл, не желая говорить о завещании.

– Очень плохо, тоскливо...

И выразительные глаза ее медленно поднялись, по губам пробежала страстная улыбка, открывшая ряд жумчужно-белых зубов. Они не отводили друг от друга глаз. Дама ловко повернула тему беседы вопросом: отчего же Микаэл не женится? Ах, нынешняя молодежь вконец испорчена: она чурается семейной жизни, тратя драгоценные годы на излишества.

– Взгляните в зеркало, ведь вы с каждым днем чахнете...

– Я чахну, зато брат ваш все добреет. Отчего же вы его не уговорите жениться?

– Гришу-то?.. О, он неисправим! Его сердечко занято оперными и опереточными певицами. Вы – другое дело, ваше сердце свободно...

– Как знать!

– Ах, так? И вы? А я считала вас неспособным увлечься, – с насмешливой лаской улыбнулась она.

– Вы правы, любовь певицы меня захватить не может.

Дама откинулась от подоконника, и складка на белом похотливом подбородке сгладилась.

В свое время много шуму наделала в городе история за-

мужества Ануш Гуламян. Дочь Мнацакана Абетяна, богача, владельца лучшего в городе магазина, влюбилась в одного из отцовских приказчиков. Родители, разумеется, воспротивились неравному браку, но однажды Ануш бросилась на колени перед матерью и со слезами покаялась. Мать не могла скрыть признание дочери от мужа. Надменный толстосум разъярился, вызвал Ануш к себе, обругал, назвав «распутницей», и, как поговаривали, даже поколотил ее.

Но было уже поздно, начались сплетни, насмешки, и отец, скрепя сердце, выдал Ануш за своего приказчика. Теперь у этого приказчика в центре города лучший магазин на позолоченной вывеске значится «Петр Иванович Гуламов, представитель московских мануфактурных фирм». В год этой скандальной женитьбы Микаэл Алимян был учеником седьмого класса реального училища. Эта история запечатлелась в его памяти, и с тех пор Ануш приворожила его. Микаэл познакомился с ней через Гришу года два назад и время от времени навещал ее как близкий товарищ брата. И Ануш и супруг ее принимали Микаэла радушно, как бы считая за честь, что у них бывает сын миллионера Алимяна. Ануш опять высунулась из окна, на этот раз еще ближе склонившись к Микаэлу, и осмотрелась по сторонам. Щеки ее зарделись, глаза сверкали, как черные алмазы, пышная грудь колыхалась. Она то и дело отбрасывала со лба густые черные пряди волос.

Микаэл опьяненными глазами продолжал впиваться в ее

полные плечи, стройный стан и особенно в полуоткрытую грудь. Какая шея, какие огненные глаза, какой манящий взгляд! Пусть говорят, что хотят, о неженственности этого существа, а все же она очаровательна, бесподобна. Оглянувшись, Микаэл потянулся к Ануш и уже хотел поцеловать ее, как, отпрянув, она еле слышно произнесла: – Гриша идет.

Микаэл отскочил. Кокетство Ануш, ее бесконечно трогательная и вызывающая улыбка, страстное выражение глаз доставили Микаэлу такое наслаждение, какого он не испытывал никогда, – наслаждение, которое стоило многих побед. Ведь Ануш – одна из самых уважаемых в городе дам, считается добродетельной безупречной женой, несмотря на скандальный брак с Гуламяном.

– Это ты с Ануш разговаривал? – спросил Гриша, подходя к Микаэлу. – Ты заметил, как она скрылась, завидя меня? Мы в ссоре, не разговариваем.

– Почему же вы в ссоре?

– Потому что ее муж – осел. Третьего дня я в присутствии жены назвал его ослом, вот она и разобиделась, не разговаривает со мной. – Но почему же ты обидел человека?

– Как не обидишь, милый мой, я у него попросил в долг тысячу рублей, а он отказал. «Нет», – говорит. Обобрал, разбойник, моего отца, нажил миллионное состояние и говорит: «нет». А для любовниц, конечно, есть.

– У него есть любовницы?

– Да еще сколько! Во всех уголках города. И какие кра-

сотки – одна уродливее другой!..

Это было новостью для Микаэла, и весьма приятной. Ведь если муж неверен жене, стало быть, и жена вправе изменять ему. С этого дня нежные усики Ануш все сильнее манили Микаэла. Несколько дней подряд в известные часы прохаживался он под окнами одноэтажного дома, однако Ануш не показывалась. Это еще сильнее подстрекнуло Микаэла. Наконец, он решил навестить ее.

Против ожидания, муж оказался дома, хотя обычно он в эти часы уходил в клуб. После недельной размолвки муж и жена помирились. Их былая «любовь» давно уже успела смениться взаимной холодностью, и месяца не проходило, чтобы супруги не оскорбляли друг друга из-за какого-нибудь пустяка. Охлаждение наступило уже через год после брака. В глазах друг друга они стали скучнейшими существами: муж со свойственным его кругу убожеством, жена со своей требовательностью и претенциозностью. Оба поняли, что не любовь, а мимолетная страсть бросила их в объятия друг друга. Эту страсть Петрос перенес на продажных женщин, у Ануш же она лишь временно погасла, как бы ожидая случая вспыхнуть снова.

Сегодня Ануш с особенным вниманием разглядывала то супруга, то гостя. Разница между ними оказалась чудовищной. Неповоротливый, толстобрюхий, с глубоко посаженными жадными глазами, плешивый и прыщеватый – таков Петрос; он тянет чай из блюда, похрюкивая, словно свинья;

жадно, непрерывно сопя и чавкая, большими кусками глотает пирожное; не умеет держаться с гостем; увидя в своем доме Микаэла, этого изысканно одетого, изящного сына миллионера, чьи манеры и повадки изобличали человека, выросшего в роскоши и холе, он растерялся. Да, только безумие могло толкнуть Ануш на брак с этим уродом, вдобавок еще изменяющим ей, тогда как, казалось, должно было быть наоборот. Петрос говорил с Алимяном о торговых делах, несколько не интересовавших Микаэла. Нефть с каждым днем дорожает, счастлив тот, у кого имеются нефтяные участки. У Петроса их нет. Вот если бы Микаэл Маркович был так добр и уступил часть своих владений по сходной цене, Петрос был бы ему бесконечно благодарен. Ануш с отвращением отвернулась: она не помнит случая, чтобы ее муж, беседуя с богатым молодым человеком, чего-нибудь да не клянчил. Вот что значит бывший приказчик! Но в то время как муж клянчил, жена обещала... обещала пленительной улыбкой, глубокими взорами. Больше того – прощаясь, Ануш так крепко пожала руку молодому человеку, что у него уже не могло остаться и тени сомнения...

Два дня спустя Микаэл наведася снова и на этот раз застал Ануш одну. Даже детей не было дома – няня увела их к бабушке.

Ануш встретила Микаэла как-то умышленно холодно, с печатью грусти на лице. Но Микаэл был обстрелянной птицей – настроение изящной дамы он истолковал правильно:

сегодня ей хотелось побеседовать о муже, перемыться ему косточки. Ей казалось, что если она сама не начнет порицать супруга, Микаэл, чего доброго, может подумать, что Ануш все еще любит этого безобразного и грубого мужлана. Однако самолюбие удерживало ее, и она ограничилась несколькими намеками, показавшими, как тяготится Ануш своей участью. Меняются времена, меняются вкусы и потребность женщины; сейчас уже мало иметь супруга и детей, чтобы чувствовать себя счастливой, есть и духовные запросы. Ах, как бы хотелось Ануш заняться каким-нибудь делом вдали от неприглядной семейной обстановки. Вчера она была в театре. Шла какая-то новая драма, где героиня, уставшая от семейной жизни, стремится к общественной деятельности. Ануш взволновалась, с трудом сдерживая слезы; ей казалось – будь она актрисой, наверное, эту роль она сыграла бы лучше, чем кто-либо другой.

– Поверьте, в наши дни одни только артистки и живут полной жизнью, а такие, как я, несчастны.

Микаэл слушал сочувственно. Он уже убедился, что никакой любви к мужу у Ануш нет: больше того – все ее желания и помыслы вызваны ненавистью к нему.

С этого дня Микаэл уже не боролся со страстью, разгоравшейся в его сердце с нарастающей силой. Он ходил к Ануш каждые два-три дня под тем или иным предлогом и всегда в отсутствие Петроса...

За месяц Смбат успел ознакомиться с отцовскими делам. Изучая их, он все более и более заинтересовывался ими. Миллионные предприятия, кроме своей материальной основы, заключали в себе какую-то особую, неизъяснимо притягательную силу. Он, всего лишь какой-нибудь месяц назад имевший под своим начальством одну горничную, теперь распоряжался огромным количеством людей. Около тысячи мастеровых, рабочих и приказчиков видели в нем могущественного владыку, во власти которого было осчастливить их или лишить куска хлеба.

Смбат удивлялся природному уму, такту, энергии и особенно выдержке покойного отца. Этот невежественный человек, с трудом выводивший свою фамилию на банковых чеках и векселях, в течение многих лет вел обширное и сложное дело, с которым вряд ли сумел бы справиться целый отряд специалистов. Отец, безусловно, был человеком незаурядным.

Смбату часто вспоминались едкие насмешки Микаэла. Да, он, Смбат, часто утверждал, что в наше время невозможно нажить богатство честным путем, что все богачи – своего рода вампиры, сосущие кровь человечества. И вот теперь он стоит во главе большого дела, вызванного к жизни потом и кровью трудового народа. Как ему быть? Остаться ли вер-

ным заветам прошлого, презреть все, отдать богатство брату и стать бедняком, каким он был всего месяц назад? Будь у него настоящее мужество, он так бы и поступил, но ведь тогда, думал он, за какие-нибудь несколько лет исчезнет все это колоссальное состояние – стоит ему попасть в руку Микаэла. Между тем, сколько хорошего и полезного можно сделать, если применить для нравственной цели безнравственными путями добытые средства! И, увлеченный этим мыслями, Смбат почувствовал в себе прилив какой-то необыкновенной энергии, неведомую до сих пор нравственную зарядку. В нем словно пробуждалась дремавшая мощь, напрягая все его существо. Он мысленно разрабатывал десятки планов, один заманчивей другого, – проекты, рассчитанные на облегчение человеческих страданий. Смбат улучшит положение своих рабочих – это будет его первым и, само собою разумеется, большим делом, делом, за которое пока еще не брался ни один нефтепромышленник и заводчик. Днем Смбат работал, а по вечерам запирался у себя в кабинете – читал, писал и изучал проблемы экономики. Порою доставал из бокового кармана заветные фотографии, долго рассматривал их и покрывал поцелуями. Он сильно тосковал по детям, ему казалось, что давно, очень давно разлучен с ними и словно оторван от них навсегда. О поездке в Москву Смбат пока не думал. Дела заставляли его быть здесь. Оставалось вызвать сюда жену с детьми. Но мог ли Смбат водворить их под тот самый кров, откуда когда-то его самого изгнали и где

никто не встретит его детей с распростертыми объятиями? Имеет ли он, наконец, на это право, когда над ним тяготет, с одной стороны, угроза проклятия, закрепленная отцовским завещанием, с другой – нескончаемые упреки матери? Но ведь он страдает в разлуке с детьми, а там, на холодном севере, в этих детях бьются сердца, полные горячей любви к нему! Вдобавок, как разлучить эти невинные создания с матерью, заставить их мучиться вдали от нее?

Как-то вечером, раздумывая об этом, Смбат невольным движением взял лист бумаги и стал писать жене. Он больше не в силах переносить разлуку с детьми. Тоска по ним ломает его жизнь – он не может ни работать, ни думать.

Дописав письмо, Смбат перечитал его и снова погрузился в думы: что собственно он затеял – надругаться над отцовским завещанием, пренебречь слезами и мольбами матери и остаться под вечной угрозой проклятья? А потом, как же он примирит родных, до мозга костей пропитанных предрассудками, с женой, воспитанной на современных началах? Но это еще полбеды, есть и другое, более серьезное препятствие: ведь он не любит жену – семь лет, проведенных вместе, были для него сплошным адом. И вот едва он расстался с женой, едва вздохнул свободно, как опять собирается вернуть прошлое.

Смбат хотел уже порвать письмо, но вновь вспомнил детей и снова почувствовал укоры совести. Ах, если бы он не был так привязан к ним, если б он походил на тех своих со-

отечественников, которые в подобных случаях бросали детей на произвол судьбы и со спокойной совестью, воротясь на родину, вновь вступали в брак! Тогда он омыл бы свою нечистую совесть в святой купели. Но ведь Смбат любит эти создания и как родитель, и как чуткий человек. Ненавидя жену, сам ненавидимый ею, сознавая непоправимость своей ошибки, проклятый отцом, вдали от матери, братьев, близких, он имел лишь одно утешение – детей, только с ними он забывал сердечную горечь.

Смбат вложил письмо в конверт. Вошел Микаэл. Приблизившись, он молча сел против брата у письменного стола. Лицо его выражало решимость – было видно, что он явился по серьезному делу.

– У тебя есть время? – спросил он.

– Смотря для чего.

– Сейчас скажу. Что это за письмо?

– Тебя оно не касается.

– Догадываюсь, ты пишешь жене. Конечно, я не имею права вмешиваться в твою жизнь, однако не мешает знать: как ты распорядился судьбой детей?

– Пишу их матери, чтобы она приезжала с ними. Надеюсь, что по крайней мере хоть ты не будешь против.

– Да, но ведь ты сам сказал, что это меня не касается. Только не рано ли задумал?

– Что ты хочешь этим сказать?

– А то, что, прежде чем писать ей, тебе следовало бы по-

советоваться со мною.

– Не понимаю.

– Хорошо, я буду говорить ясно и решительно: тебе в ближайшем будущем придется вернуться в Москву.

– Вернуться в Москву? Зачем?

– Чтобы продолжать прежнюю жизнь семейного отщепенца.

– Микаэл, я не настроен шутить.

– А я тем более. Должен тебе сказать, что ты получил отцовское наследство незаконно,

– Неужели? – спокойно отозвался Смбат, прижимая пресс-папье к конверту.

– Да, не ты законный наследник.

– Есть у тебя марки? – обратился Смбат к брату с полным хладнокровием. – Я хочу отправить письмо сейчас же.

– Прошу оставить шутки и выслушать меня.

– Ну говори, я слушаю.

– Отец тебе ничего не завещал. Тот документ, по которому ты стал обладателем его состояния, фальшивый. Настоящее завещание у меня. Если угодно, можешь ознакомиться с его содержанием.

– Должно быть, ты прямо с пирушки? Голова у тебя отяжелела, поди проспись. Микаэл вспыхнул.

– Я трезв, как никогда! – воскликнул он, выхватывая из бокового кармана вчетверо сложенную бумагу.

Смбат нажал кнопку. Вошел слуга.

– Отнеси письмо на почту.

Слуга взял письмо и удалился.

– Что это за бумажка? – спросил Смба́т с прежним хладнокровием.

– Да, бумажка, клочок бумаги, однако это подлинное завещание нашего отца. Верю твоей честности, на, прочти.

Смба́т протянул было руку.

– Впрочем, постой, – засуетился Микаэ́л и засунул руку в карман, – я ошибся. Марутханя́н говорит, что в наши времена нельзя доверять никому, даже родному брату. А он-то уж знает людей!

– Младенец! – усмехнулся Смба́т. – Неужели у тебя нет другого довода, кроме оружия?

Он взял бумагу, развернул и посмотрел на подпись. – Да, наметанная рука у составителя этой бумажки! – Ты не веришь? – Конечно, нет, но...

Он замолчал на минуту, потирая лоб. Он не верил, но в то же время колебался. Неужели это завещание настоящее? Он посмотрел на дату и смутился: бумага была составлена после той, что хранилась у него. И там и тут одна и та же подпись. Значит, рушатся все его планы. Опять нищета, вдали от родины, под гнетом проклятья?.. Что же это такое, в самом деле? Неужели покойный на смертном одре издевался над ним? Или он пребывал в состоянии умопомрачения, спутав одну бумагу с другой?

Смба́т бросил на Микаэ́ла испытующий взгляд, и его по-

мутившийся рассудок мгновенно прояснился. Сгладились морщины на лбу, по губам пробежала горькая улыбка.

– Кто состряпал эту бумажонку? – воскликнул он, ударив рукой по подложному завещанию.

– Сам покойный составил, неужели не ясно?

– Возьми его обратно, изорви и брось в сорный ящик! Ты – жертва гнусной интриги!

– Ха-ха-ха! – ответил деланным, фальшивым смехом Микаэл.

Смбат еще раз сличил поддельную подпись с другими, имевшимися в делах, и задумался. Он понимал, что эта бумага, хоть она и подложная, причинит ему большие неприятности.

– И ты хочешь, чтобы я на основании какой-то бумажки уступил тебе свои, утвержденные законом, права? – спросил он, вставая.

– Иного выхода у тебя нет.

– А если я не соглашусь?

– Тогда я обращусь в суд.

Смбат замолчал, сложил бумагу и положил ее перед братом. Микаэл смотрел на него в упор. Он было подумал, что поступает дурно, но лишь на миг. Не стоило начинать комедию, а раз начал, необходимо довести ее до конца.

– Значит, действовать через суд?

– Действуй, как тебе угодно, – ответил Смбат решительно. – Я это завещание считаю подложным, его со стряпал

Марутханян.

Микаэл вздрогнул, как птица в силке, однако тотчас овладев собой, приподнялся.

– Жаль, но придется обратиться в суд, – сказал он.

И, чтобы не подвергать свою выдержку еще более тяжело-му испытанию, счел благоразумным ретироваться.

Уставясь в пол, Смбат в раздумье прижал палец к губам. «А если бумага не подложная? Придется обдумать положение. Ему не хочется терять отцовское добро. Да и кто захочет? Пусть родительское богатство накоплено нечистыми руками, можно его очистить, употребить на общую пользу, но снова обеднеть – благодарю покорно...»

Наутро Смбат зашел к Микаэлу и застал у него Исаака Марутханяна. Не трудно догадаться, что могло заставить зятя явиться к шурина в такой ранний час. Смбат догадался также, что зять успел настроить Микаэла против него. Смбат потребовал объяснений. Микаэл повторил то же самое, но более решительно.

– Сегодня же я подам в суд, если не пожелаешь кончить дело миром.

– Подавай, – ответил Смбат, бросив испытующий взгляд на Марутханяна. – Подавайте, вы оба сломаете себе шеи! Фальсификаторы!

– Прошу без оскорблений! – возмутился Марутханян. – На каком основании ты впутываешь меня в это дело и, не получив ответа, прибавил:

– Единственная моя вина в том, что я доверяю Микаэлу больше, чем тебе. Контрзавещание подлинно и неоспоримо. Я, как юрист, в этом уверен.

Настроение Смбата мгновенно упало, но не от страха, а от сознания того, что, если даже выяснится, что контрзавещание подложно, оно все же может наделать много шума.

– Микаэл, – обратился Смбат к брату, стараясь держаться возможно хладнокровней, – не доверяйся этому человеку, он может тебя погубить. Говорю без всякого стеснения, в его же присутствии.

С этими словами Смбат направился в одну из лавок нижнего этажа.

Это была длинная, широкая комната, разделенная деревянной перегородкой. В задней части ютился один из городских приказчиков, а передняя была отведена под контору. Тут стояли: желтый расшатанный шкаф, два ветхих письменных стола, несколько не менее ветхих стульев. Несгораемой кассы не было, на полу лежало промысловое и заводское оборудование: трубы, краны, связки канатов.

За столом, в глубине комнаты, сидел, склонившись над бумагой, худощавый человек лет сорока, с преждевременно поблекшим лицом. Завидев Смбата, он поднялся во весь рост и поздоровался, согнув и без того сутулую спину. На нем был поношенный сероватый сюртук с металлическими пуговицами, блестящими, точно ордена. Черный засаленный платок, обмотанный вокруг шеи, придавал ему болезненный

вид, кончик другого пестрого платка торчал из заднего кармана. Внешность этого человека говорила о том, что он прошел суровую школу жизни.

Смбат присел за стол и подписал несколько бумаг, молча положенных ему сутулым человеком, одновременно исполнявшим обязанности заведующего конторой, приказчика и бухгалтера. Приняв из рук Смбата бумаги, он под подписью хозяина везде проставил и свою: «Бухгалтер Давид Заргарян».

Подписав бумаги, он достал из кармана пачку кредиток и положил ее перед Смбатом со словами: – Поступления от двух магазинов. – Оставьте у себя, сдадите завтра, – сказал Смбат. – Нет уж, получите. Я не могу держать при себе такие деньги ни единого часа.

Видно было, что бухгалтер взволнован. Вся его фигура выражала оскорбленное достоинство.

– Опять случилось что-нибудь? – спросил Смбат, уже успевший изучить характер Заргаряна.

– Господин Смбат, получите деньги и освободите меня от всяких денежных счетов.

Проговорив это, Заргарян принялся большими шагами расхаживать по комнате с таким видом, точно он старался наступить на ускользающего гада.

– Не понимаю, – заметил Смбат, – может быть, я чем-нибудь обидел вас?

– Нет, господин Алимян, вы слишком воспитаны, чтобы

обижать таких, как я. Мне просто страшно держать при себе деньги.

– Бойтесь потерять?

– Да.

– Но, насколько мне известно вы служите у нас много лет и ни разу еще ничего не теряли.

– Нет, раза два случилось при жизни вашего покойного батюшки.

Смбат почувствовал в словах Заргаряна какой-то особый смысл. В честности бухгалтера он ни на волос не сомневался. Довольно было и того, что его держал семь-восемь лет такой осторожный и недоверчивый человек, как покойный Маркое Алимян.

– Убедительно прошу вас, говорите яснее. Вижу, вы хотите что-то сказать, но не решаетесь.

– Хороша, скажу яснее, раз вы мне разрешаете, – ответил Заргарян и, широко шагнув, остановился перед хозяином. – Ваш брат, господин Смбат, занимается воровством.

– Заргарян! – прервал Смбат возмущенно. – Вы мне разрешили быть откровенным, значит, не должны сердиться. Да, господин Микаэл ворует, и я не в силах ему препятствовать. За эту неделю он трижды брал из конторы деньги, не оставляя никаких расписок. Вот счет: тысяча семьсот рублей.

И он положил перед Смбатом листок. Воровство! Что за чудовищный удар по семейному престижу Алимянов! Об

этих деньгах Микаэл ничего не говорил Смбату и, конечно, не собирался говорить. Вот как! Значит, Микаэл, не довольствуясь тем, что получает от матери и от брата, не останавливается перед воровством! Он не щадит даже этого несчастного бухгалтера, подвергая риску его репутацию. Вот до чего дошел Микаэл!

– Покойный, – продолжал Заргарян со вздохом, – хорошо зная сына, строго-настрого наказал съемщикам и приказчикам не давать ему ни гроша. Было бы недурно, если бы то же самое сделали и вы.

– Отлично, я воспользуюсь вашим советом. И Смбат покинул контору, чтобы рассеяться. Жизнь в промышленном городе кипела. Люди торопливо и озабоченно сновали взад и вперед. Не трудно было угадать, что головы их заняты одной мыслью, сердца – одним чувством: нажить как можно скорее и больше. Воздух был пропитан духом наживы. Люди раскланивались поспешно, разговаривали второпях, едва переводя дух. Останавливались лишь изредка, чтобы обменяться рукопожатием. На свежего человека город производил впечатление вокзала, где каждый спешит, суетится? толкается, боясь опоздать на поезд. Вихрем мчались экипажи мимо недавно воздвигнутых и возводимых зданий, развозя дельцов, одержимых жадной золотом. Старые глинобитные приземистые азиатские лачуги с плоскими земляными крышами заменялись великолепными каменными домами европейского типа. Все менялось, обновлялось с лихорадочной

быстротой, и прежде всего – внешность горожан. Вчерашняя персидская папаха, длиннополый балахон и чарохи³ уступали место шляпе, сюртуку и лакированным ботинкам. Конторы и великолепные магазины были полны посетителей: входили, выходили, покупали, продавали, надували – и неизменно спешили.

Смбат заметил толпу перед небольшим двухэтажным домом: люди перешептывались с таинственным видом и опасно озирались. Он поднял голову и прочел на фронтоне: «Биржа». Сюда в известные часы сходились маклеры и «биржевые зайцы», тут они наживались и обманывали. Каждый норовил купить чужой товар подешевле, продать свой подороже. Несколько человек, узнав Смбата, почтительно расступились и дали ему дорогу, другие низко поклонились. Сначала Смбат почувствовал к этим людям презрение, смешанное с отвращением, – дармоеды, язва на общественном организме! В либеральных студенческих кружках ему не раз приходилось жестоко порицать общественные группы, чуждые производительному труду. Потом презрение уступило место другому чувству: вправе ли он считать этих посредников паразитами и клеймить их презрением? Не легкомысленно ли порицать явление, не разобравшись в породивших его причинах? Если посредник – тунеядец, паразит, то таким же названием можно окрестить и нефтепромышленника, заводчика, помещика, купца, лавочника, а стало быть, и его самого,

³ Чарохи – вид обуви.

Смбата Алимяна?

Он почувствовал, что мысли его унеслись далеко, очень далеко, проникая в тайники политической экономики. Смбату стало стыдно за свой умственный и нравственный мир. В эту минуту он видел себя в двойном облике: один – нынешний Смбат, другой – тот же, но два месяца назад; один – наследник миллионов, другой – тот бедный молодой человек, что содержал семью частными уроками, был проклят отцом и изгнан из родного дома.

К которому из двух вернуться, с кем слиться? Что лучше – потерять богатство, но остаться верным принципам, или предпочесть золото, силу и власть? Проблема казалась неразрешимой.

Вдруг Смбат вздрогнул. Он вспомнил контрзавещание, о котором успел было забыть. Да, если оно законно, то вопрос разрешится сам собой, помимо его воли. Его снова выгонят из семьи, и он опять станет тем, кем был два месяца назад. Пусть тогда Смбат отстаивает свои идеи, на пустой желудок проповедует нравственные принципы и кормит своих детей высокими теориями...

– Смбат! – послышался сзади знакомый голос; он обернулся.

Это был Григор Абетян, запыхавшийся и обливавшийся потом.

– Уф! Чуть не лопнул! Проклятые врачи выматывают душу, а помощи никакой... Послушай, я к тебе с миссией: Кя-

зим-бек Адилбеков просит тебя пожаловать к нему на гала-кейф. Он хочет снять с тебя траур и подружиться с тобой. Заклинаю тебя именем всех международных кутил – не отказывай! Я дал Слово, что заполучу тебя, и ты должен пойти.

– А кто там будет?

– Говорят тебе – международные кутилы.

– А Микаэл?

– А то как же? Микаэл – душа нашей компании.

Смбат хотел было отказаться от этой чести, но любопытство взяло верх: хоть раз побывать в кругу друзей Микаэла и посмотреть, как он прожигает жизнь.

– Ладно, приду.

– Нет, так нельзя, ты можешь забыть или, чего доброго, сбежишь. Сначала поедем в клуб, я заеду за тобой, жди меня дома. Впрочем, нет, нет, жди в конторе – у меня не хватит сил подняться по лестнице.

Швейцары Общественного собрания, увидев Смбата, засуетились; торопясь и толкаясь, они принимали от него пальто и шляпу.

Поднявшись по широкой лестнице, Смбат и Гриша прошли в обширный зал. Здесь одни играли в карты, другие, разбившись на группы, беседовали и спорили, убеждали, разъясняли. Тут же заключались торговые сделки. Шутили, острили, рассказывали циничные анекдоты и, подталкивая друг друга, обделывали дела на десятки тысяч. Возгласы и жесты, допускающиеся в Общественном собрании, могли оскорбить непривычного человека. Изменилась лишь одежда у вчерашних лавочников, фруктовщиков и возниц. Улица в накрахмаленной сорочке, лакированных ботинках переместилась в Общественное собрание, залитое электрическим светом люстр и уставленное роскошной мебелью. Небрежно развалившись в бархатных креслах, здесь восседали люди, еще недавно сидевшие на драных циновках, поджав по восточному обычаю ноги. Тут были также врачи, адвокаты, инженеры, внешнее обхождение и речь которых носили неизгладимый отпечаток воспитавшей их среды – почти те же грубые жесты, та же вульгарная речь невежественных торгашей. Они даже умышленно перенимали повадки разбогатевших поваров и дворников, с единственной целью – понравиться им.

Смбата встретили любезными приветствиями, подобострастными улыбками. Все наперебой спешили пожать ему руку, выразить соболезнование по поводу смерти отца и восхваляли достоинства покойного.

– А вот тут наши патриоты, – сказал с иронией Гриша, вводя Смбата в небольшую комнату, где человек пять-шесть о. чем-то жарко спорили.

– Голодное брюхо шевелит мозг! – сострил Гриша.

Затем они очутились в ярко освещенной просторной комнате, где за длинным столом группа людей читала газеты.

– Местные политиканы! – объяснил Гриша с жестом гида.

– Следующие комнаты были битком набиты играющими в карты. Меловая пыль, табачный дым, тяжелое дыхание образовали сплошной сизый туман, в котором мелькали раскрасневшиеся лица, заплывшие глаза и обвисшие животы. Иные и за картами совершали торговые сделки.

Поминутно хлопали пробки: новоиспеченные буржуа, сопя и рыгая, освежались минеральными водами после плотного обеда.

В последней комнате сражались на бильярде. Здесь были Мовсес и Мелкон.

– Добро пожаловать, сиротка! – обратился к Смбату, Мелкон, прицеливаясь в шар.

– Иншалла!⁴ – проронил сонливо-пьяный Мовсес, натирая мелом конец кия. – Карамболь!..

⁴ Иншалла – хвала богу (араб.).

– Ну, пора кончать, уже десять! – крикнул Гриша нетерпеливо.

Партию dokonчили кое-как. Смбат, Мелкон и Мовсес отправились прямо к Кязим-беку, а Гриша по пути свернул в театр.

– Забегу я за моими красотками, не то их похитят.

Помещение, называвшееся театром, представляло собою убогое четырехугольное сооружение, лишенное стиля и напоминавшее сарай. В узком проходе Гриша бросил пальто подбежавшему капельдинеру и шмыгнул за кулисы. Тут царил ярмарочная сутолока: в то время как на сцене пел хор и порхали балерины в легких нарядах, здесь, за кулисами, хохотали, толкались, флиртовали, спорили, бранились. Несколько завзятых ловеласов, мошенничеством разбогатевших приказчиков и маклеров поджидали тут своих временных Дульциней, чтобы увести их после спектакля ужинать.

Гриша потрепал по щеке смазливую балерину и примостился около миловидной хористки, в ожидании, когда примадонна кончит на сцене свою партию, удостоится аплодисментов и получит от какого-нибудь бывшего извозчика корзину цветов. За кулисами Гришу принимали с любовью и почитательно, а иные актрисы прямо вешались ему на шею.

Сообщив примадонне, где они соберутся после спектакля, Гриша поспешил в битком набитый зрительный зал. Уверенными шагами он прошел между пышно разряженными да-

мами и с иголки одетыми мужчинами и занял свое постоянное место в первом ряду. Десятки глаз завистливо следили за этим баловнем счастья, чувствовавшим себя в зрительном зале, как дома, а за кулисами – как в собственном гареме.

Среди друзей Микаэла Кязим-бек Адилбеков был самым свободным в отношении семейных обязанностей, самым богатым и самым расточительным. Родители его умерли несколько лет назад. Дома, кроме двух-трех слуг лезгин, повара и кучера, он никого не держал. Жил Кязим-бек не магометанином, быт свой он приноровил к вкусам и привычкам друзей-христиан. От отца ему досталось несколько великолепных домов, многочисленные нефтяные скважины, два парусных судна, пароход и мешки с золотом. Он уже успел спустить половину родительского добра и принялся за дружгу. Благочестивые мусульмане давно уже примирились с греховными привычками Кязим-бека, считая его поганым «гяуром», обреченным на вечный адский огонь...

Гости прошли в просторную комнату с полуевропейским и полувосточным убранством. В одном углу, на тахте, поджавши ноги, пели и играли сазандары. Хозяин с приятелями сидел за картами – играли в винт. Это был здоровый, жизнерадостный молодой человек с привлекательными чертами тщательно выбритого лица, с большими черными глазами и нежными темными усиками. На нем была черкеска из тончайшей дагестанской шерсти, надетая на шелковый архалук, стянутый золоченым поясом; на поясе – кинжал в ножнах с

великолепной резьбой по золоту и слоновой кости. При виде гостей Кязим-бек вскочил, расправив гибкий стан. По багровому лицу и воспаленным глазам его не трудно было заключить, что он питает слабость к спиртным напиткам и по ночам кутит.

– Машалла! Машалла! – воскликнул он, бросаясь к Смбату Алимяну. – Клянусь именем Иисуса, что я безмерно счастлив видеть тебя сегодня в моем доме. Ну и сюрприз.

Он обнял Смбата, поцеловал и представил его гостям. Тут были: русский офицер, грузинский князь, персидский консул, трое армян, лезгин, два еврея, грек и поляк. Самым старым из присутствующих был армянин лет пятидесяти пяти, один из первых богачей города – тоже баловень судьбы! Про него рассказывали, что в прошлом он был поваром: Второй армянин – молодой человек с увядшим лицом – производил впечатление кутилы, пресыщенного обилием земных благ. Третий – Микаэл, который с появлением Смбата отошел в отдаленный угол.

Винт был прерван. Приступили к баккара. Вновь прибывшие, кроме Смбата, никогда не бравшего в руки карт, не теряя драгоценного времени, разместились за карточным столом. Кязим-бек не решился предложить Смбату присоединиться к игрокам.

Вначале игра шла вяло – на карту ставили не больше десяти-двадцати рублей. Партнеров стеснял офицер. Денег у него было мало, поэтому остальные играли осторожно, не

желая нарушать «картежной этики». Наконец, офицер спустил все дочиста и поднялся, к вящему удовольствию сонливо-пьяного Мовсеса. Вскоре игра оживилась. Микаэл проигрывал, Мелкон тоже. Кязим-бек перестал играть, обнял Смбата, и они вместе вышли на балкон.

Микаэл начал волноваться и сердиться. Карты его «бились» одиннадцать раз подряд. Нет, это невозможно, он насилу добыл несколько тысяч, и вот – уже больше половины ушло. Надо «переменить руку». Пока играли «по маленькой» – везло, а теперь...

– Николай Лукич, присядьте, – обратился он к офицеру, с завистью следившему за игрой; так голодные глядят на пышные яства.

Офицер нагнулся, и Микаэл сунул ему пук кредиток.

– Играйте смелее!

Не прошло и десяти минут, как офицер продулся. Микаэл продолжал проигрывать.

Все были разгорячены. Уже никто не считался с величиной банка, шли на все вызовы. Лица были воспалены, глаза горели, сердца бились от сильного волнения, свойственного азартным игрокам, часами просиживающим за карточным столом, – волнения, не лишённого своеобразного удовольствия.

Смбат, вернувшись, стал с любопытством следить за Микаэлом. Его занимали не выигрыши или проигрыши, а душевное состояние брата. Игра совершенно преобразила Ми-

каэла: воспаленные глаза его блуждали, ноздри вздрагивали, как у арабского скакуна, весь он был охвачен страстью, – бледный, как бумага, он тяжело дышал, грудь подымалась и опускалась, точно кузнечные мехи. Он не смотрел на Смбата, играл как одержимый, то загребая, то отбрасывая кипы ассигнаций.

Выбыл из строя еще один игрок, и Кязим-бек занял его место.

Смбат почувствовал, что какая-то дьявольская сила влечет и его к карточному столу, как бездна, удержаться на краю которой – геройство. Смбат уже постиг нехитрую механику игры и мог бы участвовать в ней. Временами он волновался вместе с игроками, ставившими огромные суммы, или негодовал на неудачные ходы. Соблазн становился все непреодолимей.

Внезапно сунув руку в боковой карман, а другую положив на стол, Смбат воскликнул:

– На пробу!

Сдавал Мовсес. Он вышел из своего обычного сонливого состояния и играл азартнее всех. Он утроил банк. Смбат взял карты. По бледным губам Микаэла пробежала ироническая улыбка. Смбат бросил на стол шесть сторублевок и проиграл. Еще взял карты – опять проиграл. Третью карту побил и отошел.

Грузинский князь спустил всю наличность и уже играл «на мелок».

– Папаша, уступи мне место, – обратился Мелкон к бывшему повару, беспрерывно загребавшему выигрыш.

– Я... гм... старый человек... Я... гм... гм... не могу встать... – проговорил, запинаясь, экс-кухмистер, прозванный «Папашей».

– Коньяку! – крикнул Мовсес.

Слуга-лезгин тотчас исполнил приказание. Выпили по рюмке, по другой, по третьей, и кровь заиграла еще сильнее. Микаэл теперь выигрывал. Выигрывали также Мовсес и Папаша. От остальных счастье отвернулось.

Карты, сделав круг, перешли к Мелкону Аврумяну. Бросив на соседа пронизывающий взгляд, он крикнул: – Тысяча рублей!

Никто до сих пор не начинал с такой крупной суммы. Сосед Мелкона, грузинский князь, замаялся и посмотрел на Папашу: он просил у бывшего повара денег, но взгляд его требовал. Старик мотнул головой, давая понять, что он уже довольно ссужал соседа в долг без отдачи. Все переглянулись.

– Идет! – воскликнул Мовсес, ударяя по столу.

Он выиграл, покрыв восьмерку девяткой. Мелкон сквозь зубы крепко выругался и швырнул карты. Взяли новые колоды. Не помогло. Счастье на этот раз изменило Мелкону. Он был вне себя от злости и искал, на ком бы сорвать ее. Вообще Мелкон слыл забиякой. Неудачный игрок с досады прикрикнул на музыкантов, обступивших стол и жадными глазами пожиравших груды денег. Когда карты опять перешли

к нему, он на минуту задумался, потер лоб и объявил: – Три тысячи! На этот раз даже Мовсес поколебался, хотя выиграл немало.

– Идите, – посоветовал грузинский князь Папаше.

– Я... гм... пока не пьян... гм... гм... не орехи...

– Сбавь, – обратился Микаэл к Мелкону, – видишь, карта не идет, с ней не сговоришься.

– Пять тысяч! – разгорячился Мелкон.

– Коньяку! – крикнул Мовсес.

Он схватил рюмку, приложил руку ко лбу и на минуту задумался, Потом выбрал карту, посмотрел масть. Мовсес загадал: если красная – идти.

– Шесть тысяч, – накинул Мелкон, побелев как полотно.

Смбат уставился да Микаэла. Он видел, как брат горячился, и понимал его: он сам был охвачен дьявольской властью азарта.

– Семь тысяч! – крикнул Мелкон и, не получив ответа, процедил сквозь зубы: – Трусые!

Самолюбие Микаэла было уязвлено.

– Идет! – отозвался он и посмотрел на брата.

Смбат притворился равнодушным.

– Это не шутка, а игра, – предупредил Мелкон. – Я не признаю шуток, дай карты!

– Клади деньги!

– Можешь поверить до завтра.

Микаэл опять посмотрел на брата. Смбат продолжал ка-

заться безучастным.

– Поверю, если карты возьмет твой брат.

– Ты что – меня за шулера считаешь? – возмутился Микаэл, стукнув изо всей силы по столу.

– Боже упаси, я только не доверяю твоей кредитоспособности.

– Я, сударь, не банкрот!

– Банкроты те, что когда-то что-то имели.

На минуту воцарилось общее замешательство. Музыканты испуганно отскочили от игроков.

– Даешь или нет? – вскочил Микаэл, угрожающе. Мелкон повернулся к Смбату.

– Можешь сдавать, – произнес Смбат, не в силах более вынести унижения брата.

Мелкон сдал две карты Микаэл у и две взял себе. Потом, осторожно посмотрел на свои и насупился. – Даю...

– Бери себе, – сказал Микаэл. Мелкон прикупил карту.

– Губы его дрожали.

– Ну-с, что скажешь? – спросил он.

– Говори ты.

– Нет, слово за тобой.

– У меня шестерка.

– Покажи.

– Семерка... – сказал Микаэл, раскрывая карты. Он был уверен в удаче. Но Мелкон выложил перед ним две десятки и девятку. Микаэл вздрогнул.

– Не может быть! Не может быть! – крикнул он, теряя власть над собой. – Я не позволю обирать меня!

– На то и игра, – хладнокровно сказал Мелкон. – Завтра заплатит брат.

– Разбойник, девятку ты из-под колоды вытащил! – Ты сам шулер!

Поднялся переполох. Противники вскочили и схватились за стулья. Еще минута, и они бросились бы друг на друга. Но вмешался Смбат. Он оттащил брата в сторону и отчеканил Мелкону:

– Завтра утром ты получишь выигрыш. Игра, разумеется, прекратилась. Смбат хотел немедленно уйти и взять с собой Микаэла.

– Нет, нет, – умолял Кязим-бек, – вы кровно обидите меня. Пустяки, помирятся.

Пока успокаивали игроков, вошли Гриша, примадонна, две хористки и певец. Их появление и особенно красивое, улыбающееся лицо примадонны успокоили разбушевавшиеся страсти.

Слышшая красавицей, примадонна была высокая, довольно полная блондинка, с завитками волос, собранных в греческий узел на затылке. Искусно подведенные глаза казались большими и томными. Пудра и белила скрывали кое-какие шероховатости кожи, а умело наложенные румяна придавали щекам привлекательную свежесть. Жидкие брови были подрисованы с таким мастерством, что никому не пришло

бы в голову заподозрить тут участие косметики.

Примадонна дружески пожала всем руки и одарила компанию очаровательной улыбкой, свойственной служительницам сцены. Сазандары воодушевились, предвкушая исключительное пиршество, а стало быть, и щедрое вознаграждение, особенно если состоится примирение между Микаэлом и Мелконом.

Гриша обнял и расцеловал почтенного Папашу, нашептывая ему фривольные похвалы дамам. Старик, подкручивая пышные усы и поправляя галстук, уставился, как блудливый кот, на примадонну, и, меряя ее взглядом с ног до головы, мысленно раздевал красотку.

Полчаса спустя Кязим-бек пригласил гостей в столовую, где их ожидал стол, ломившийся от обилия яств и вин. Микаэл занял место по правую руку примадонны. Больше месяца он не бывал в женском обществе и стосковался по нем. Гриша очутился слева от красавицы. Кязим-бек и грузинский князь сели напротив. Смбат занял место между хозяином дома и Папашей.

Распорядителем пира был избран Гриша. Первое время все старались держаться солидно в присутствии примадонны, тем более что впечатление от ссоры еще не рассеялось. Тамада предложил тост за «яркую звезду» искусства – тост, принятый стоя и с большим воодушевлением. Сазандары исполнили туш.

– Silence! – воскликнул молодой юрист с утомленным ли-

цом, исполнявший обязанности мирового судьи.

Воцарилось молчание. Юрист произнес речь, посвященную красоте и искусству. Начал он с древних греков и римлян, дошел до наших дней и, исчерпав весь запас своих знаний, закончил:

– Ergo мы, как горячие поклонники искусства, преклоняемся перед его царицей.

Кязим-бек воскликнул:

– Афарим!

Грузинский князь поддержал:

– Ваша!

Гриша предложил прибывшему с ним актеру спеть романс.

Поднялся бритый, основательно потрепанный мужчина – второй тенор оперы – и стал извиняться и отказываться. Ему хотелось, чтобы весь стол упрашивал его. Желание сбылось.

– Джиоконда! – обратился он к «царице искусства». – Романс для тебя – вещь слишком шаблонная. Разреши мне спеть и представить «Сумасшедшего».

– Bravo, bravo, чудесно, дядюшка! – отозвалась примадонна. – Господа, прошу внимания. «Сумасшедший» – номер исключительный. Честь имею представить: будущий Барнай или, если хотите, Сальвини. Он решил посвятить себя драме. О господи боже, нервы мои не выносят этих диких звуков! – прибавила Джиоконда, сделав недовольный жест в сторону восточных музыкантов.

– Помолчите, ребята! – приказал Кязим-бек, и сазандары прекратили игру.

«Будущий Барнай или Сальвини» торжественно оглянулся, вытерся, поправил галстук, чтобы обратить на себя всеобщее внимание, и принялся изображать «Сумасшедшего». Губы его кривились, лицо морщилось, зрачки бегали, и будущий «Барнай» напоминал циркового клоуна. Его охрипший от пьянства голос то возвышался, то застревал в горле, временами издавая звуки, похожие на скрип немазаного колеса.

Примадонна, в глубине души жалеющая своего «пропащего» коллегу, заплодировала. За ней – остальные. «Будущий Барнай», с достоинством раскланявшись налево и направо, грустно, со вздохом опустил на стул.

– Сколько экспрессии! Сколько чувства! – воскликнула примадонна, прижимая платок к глазам, делая вид, что вытирает слезы. – Экстра твое здоровье, многострадальный мученик искусства!

– О Джиоконда, экстра, экстра! – воскликнули все в один голос, осушая бокалы.

Гриша умел почтить прекрасный пол, он предложил тост за хористок.

Настала очередь поднять бокал за Смбата Алимьяна. Гриша объявил, что сегодня компания обрела драгоценного сочлена, «заблудшую овцу», сбежавшую из родной овчарни.

Когда запас тостов, наконец, иссяк, Кязим-бек велел сазандарам сыграть какой-то танец. Первым пустился в пляс

он сам, не сводя глаз с пышных форм красавицы и кружась у стола.

– Шампанского! – крикнул он слугам

Смбат чувствовал какую-то необычайную теплоту. Эта обстановка, еще час тому назад казавшаяся ему чуждой, теперь не отталкивала его. Теперь он не жалел, что пришел сюда. Более того: он даже оправдывал Микаэла и готов был обнять его и расцеловать.

Микаэл уже забыл о своем неприятном столкновении и не переставая шептался с примадонной. За картами он не раз вспоминал усики мадам Ануш Гуламян, но теперь, сидя подле певицы, совершенно забыл об Ануш. Кровь Микаэла кипела, зажигая в сердце сладкую тревогу. Он не сводил страстных взглядов с пышной груди певицы, с ее белоснежной шеи. Временами ему казалось, вот-вот он обнимет эту шею и крепко прижмет к губам, но его сдерживали устремленные со всех сторон завистливые взгляды, в особенности – взгляд Смбата, тоже пылавший страстью к певице.

Первый бокал шампанского был выпит за примадонну, но на этот раз не как за «царицу искусства», а как за «прекраснейшую». Все шумно поднялись, за исключением Смбата, все еще соблюдавшего траурный этикет. Кязим-бек подошел к «несравненному созданию» и попросил разрешения приложиться к ее «эфирному» плечу. Пример оказался заразительным – все поочередно облобызали соблазнительное плечо красотки. Не тронулся с места один Смбат, и это не ускользнуло от зоркого взгляда певицы.

– Кажется, господин Алимян слишком поглощен своей визави, – заметила она смеясь.

Визави оказалась одной из хористок, на которую Смбат до этого ни разу не взглянул.

«Будущий Барнай» порядком уже подвыпил и со слезами посвящал сидевшего рядом офицера в душевные муки служителей искусства. Напились также Мелкон и Мовсес. Папаша, уловив удобный момент, взял стул и подсел к певице. Поднялся общий хохот.

– Тронулся Папаша! Папаша теряет над собой власть! – раздалось отовсюду.

Певица, уже слышавшая о богатстве бывшего повара, ода-рила его очаровательной улыбкой.

Гриша что-то шепнул примадонне, подливая ей шампанского.

– Господа! – воскликнула певица, поднимая бокал. – Там, где веселье, нет места раздорам.

– Внимание, внимание! Сама богиня вещает, – раздался голос Гриши.

– Я пью за здоровье Микаэла Марковича и Мелкона Амбарцумовича и прошу их поцеловаться в знак примирения.

– Целоваться, обязательно целоваться, ура! – слышались дружные возгласы.

Часть гостей окружила Микаэла, другая – Мелкона; под-талкивая друг к другу, их заставили поцеловаться. Примирение воодушевило всех. Теперь уже можно было продол-жать пиршество без всякого стеснения. Смбат возмущенно наблюдал сцену примирения. Значит, в этом кругу слово не имеет цены. Неужели чувство чести незнакомо этим людям до того, что они способны обниматься через час после нане-

сенных друг другу тяжелых оскорблений?

Микаэл также терял самообладание – актриса обвороживала его своими недвусмысленными улыбками и обольстительным голосом. Время от времени он осторожно пожимал локоть соседки, не встречая заметного сопротивления.

– Когда ваш бенефис? – спросил он, наконец.

– В ближайшее воскресенье.

– Могу я надеяться, что в этот день вы пообедаете со мной?

– С удовольствием.

– И поужинаете?

– Этого обещать не могу. Все зависит от публики. Быть может, меня пригласят со всей труппой.

– Вы разрешите мне теперь же исполнить один приятный долг?

– Что вы хотите этим сказать?

– Вот что! – ответил Микаэл и, сняв брильянтовое кольцо, попросил у певицы разрешения надеть его на палец.

Красотка взглянула на искрящийся брильянт и прикинулась смущенной.

Нет, нет, подношения она обычно принимает в храме искусства. Но, ах, какой чудесный камень, какая отделка! О нет, она не примет! Что скажет Смбат Маркович?

– Посмотрите, как он глядит на нас...

Самолюбие Микаэла было задето. Ведь он человек самостоятельный, и брат не имеет никакой власти над ним. Он

нарочно, в кругу товарищей, подносит ей кольцо, чтобы доказать свою полную независимость. Другьям он уже сообщил о контрзавещании. Было решено завтра же в последний раз предложить Смбату добровольно признать законность этого завещания, иначе дело поступит в суд.

– Помогите мне, Гриша, – обратился Микаэл к товарищу.

– Простите, Елена Анастасьевна, – сказал Гриша, пытаясь надеть кольцо на указательный пальчик певицы. – Мы – грубые кавказцы. Когда слово не действует, прибегаем к силе...

– Скажите лучше: рыцари без страха и упрека. Можно ли обижаться на вас? – ответила певица, протягивая палец. – Какие у вас изящные руки – прелесть! – прошептала она, лаская пальцы Микаэла.

Этой легкой лаской дива наградила Микаэла за ценный подарок.

– О чем вы там шепчетесь? – раздалось со всех сторон.

– Да ничего, – засмеялась певица, – я слегка порезала палец, и Микаэл Маркович перевязал его.

И, подняв руку, она как бы нечаянно похвастала подарком. Ей хотелось вызвать зависть у других, но не удалось. Кое-кто усмехнулся легкомыслию Микаэла: стоило ли до бенефиса делать такой богатый подарок? Это мещанское тщеславие.

Смбату стало стыдно за брата, но он сдержался.

Все уже были пьяны, кроме грека и евреев. Поляк незаметно скрылся. От табачного дыма и чада трудно было ды-

шать.

– Как жарко! – заметила певица, готовясь встать.

Дело в том, что румяна на ее лице таяли, а пудра осыпалась, и ей приходилось то и дело пудриться.

– Да, жарко, – повторил Мовсес, собираясь скинуть пиджак, но ему помешали.

– Дайте спичек, – крикнул Мелкон, не сумевший побороть зависть к Микаэлу. – Небольшой фейерверк в честь богини искусства...

Он сплел из нескольких кредиток подобие венка, намочил их бенедиктином и положил на тарелку; в середине венка он поместил фотографию певицы. Спичка вспыхнула, и кредитки загорелись, освещая портрет дивы радужным пламенем. Эффект был полный. Раздались рукоплескания, грянула музыка. Под фотографией уцелели несколько сторублевков. Мелкон поднес этот венок «Богине искусства».

– Дико, но оригинально! – восхитилась певица, громко смеясь и пряча кредитки в ридикюль.

Хористки жадно следили за этим зрелищем, завидуя примадонне. Вдруг они пискливо затагнули какой-то дуэт.

Папаша бросил им в бокалы по паре золотых и украдкой поцеловал в шею одну из девушек.

– Bravo, Папаша! Брависсимо! – воскликнула певица, от зоркого ока которой ничто не ускользало.

Сутолока все больше и больше нарастала.

Гришу бесило, что певица больше занята Микаэлом; он

со злости дважды выплеснул на сазандаров шампанское. Мовсес подшучивал над хористками, время от времени ржал, как ретивый жеребец, и кусал девушкам плечи, вызывая ревность в стареющем Папаше. Мелкон то и дело целовался с соседями, как пьяный провинциальный репортер. Кязим-бек все чаще подходил к примадонне и прикладывался к «эфирной ручке», все еще не решаясь подняться выше. Князь Нисамидзе вывел на балкон расклеившегося тенора и опрокинул ему на голову ведро холодной воды. Белобрысый лезгин с толстой шеей мысленно сравнивал хористок, не зная, кому отдать предпочтение... Исполняющий обязанности мирового судьи, произнеся заключительную речь, воодушевился до того, что хлопнул бокалом о бутылку и разбил его вдребезги.

Смбат думал о том, что уже поздно, время покинуть бесшабашную компанию, но какая-то невидимая сила приковала его к месту. Он не испытывал удовольствия, но и не скучал. Все, что здесь творилось, противоречило его нравственным убеждениям, претило его вкусам, но в то же время таило в себе какую-то демоническую силу, парализовавшую его волю.

Офицер с бутылкой шампанского подошел к певице. Он расстегнул китель, заложил руку в карман синих рейтуз и громко попросил внимания. Никто его не слушал. Тогда, хлопнув по плечу тамады, он крикнул:

– Слушай, дружок! Слушайте, господа! – И, на минуту овладев вниманием, продолжал: – Господа, я видел в

Москве, как чтут искусство наши именитые богачи. Вам этого не понять, вы – азиаты... Слушайте, слушайте! Края хрустального бокала слишком грубы, чтобы воздать почести искусству, понимаете, черт побери!

Певица не могла догадаться, к чему клонит пьяный офицер, и не на шутку испугалась его налитых кровью глаз. Эти офицеры вообще падки до скандалов.

– Господа, было время, когда и я купался в шампанском. Увы, отцовские капиталы! Позвольте же, черт вас побери, хоть раз потряхнуть стариной...

Он, нагнувшись, ухватил певицу за ножку.

– Это принято всюду, где умеют, черт побери, прожигать жизнь!

Певица уже поняла, в чем дело, сняла туфлю и передала офицеру.

– Да здравствует Мельпомена, обладающая столь очаровательной ножкой! – воскликнул офицер и, налив в туфлю шипучий напиток, поднял ее над головой. – Во имя искусства! Во имя любви к искусству!

– Ура! Ура! – гремело со всех сторон.

И все выпили по туфле шампанского, все, кроме Смбата Алимяна, слыхавшего ранее о подобных выходках, но первый раз наблюдавшего их теперь воочию.

Певица хохотала до слез при виде необычной чести, которой удостоилась ее туфля.

– Это не ново. Мы видали номера и почище, – обратился

Гриша к офицеру и, достав из кармана пару новеньких атласных тувель, нагнулся и надел на ножки певице.

Неглупая и практичная примадонна сообразила, что дело заходит далеко и бог весть чем может кончиться. Быстро поднявшись, она прижала руку ко лбу, другую – к сердцу, и потупилась.

Микаэл в замешательстве обнял ее за талию.

– Что такое? Что случилось? – раздались голоса.

Певице сделалось дурно. Закрывая глаза, она прикусила губу:

– Сердце, сердце...

Разумеется, все мгновенно окружили ее.

– Дохтура, гм... дохтура... – заволновался Папаша.

Принесли одеколон, натерли диве виски. Кязим-бек бросился вызывать по телефону врача. Певица продолжала стонать, повторяя:

– Отвезите меня домой! Домой хочу...

Многие порывались проводить ее, в особенности Микаэл и Гриша, однако она неожиданно склонилась к плечу тенора, обняв рукой одну из хористок. Ничего другого не оставалось, как вывести ее и посадить в экипаж Кязим-бека.

Ах, она просит извинить ее, она очень и очень признательна, но сожалеет, что не справилась с нервами и захворала некстати. О, она никогда не забудет оказанной ей чести. Она горячо любит всех и уверена, что не забудут о ее бенефисе...

– О-о-о, не могу, сердце!.. Живей, кучер, гони! Скорее

домой, дядюшка, и ты, бесподобная подруга!

Когда экипаж скрылся в ночной темноте, певица внезапно преобразилась, хлопнула тенора по плечу и, громко смеясь, воскликнула:

– Видал?.. Ну, скажи, кому из нас лучше даются драматические роли?.. Дураки, поверили...

– Бесподобно было, моя богиня, изумительно! Подари мне одну сотняжку, завтра надо за номер платить.

Певица дала ему кредитку, заметив:

– Завтра, наверное, один из этих эфиопов навестит меня, придется немного всплакнуть, а там...

Гости, хмурые, вернулись в столовую. Микаэл приуныл. Он напоминал ребенка, у которого упорхнула птичка, похитившая золотое кольцо.

Кутеж совсем разладился, не стоило продолжать.

– А я? А я? Кто меня проводит? – бросалась то к одному, то к другому потрепанная худощавая черноглазая хористка.

– Папаша, Папаша, – раздалось отовсюду.

– И думать нечего, – воспротивился Кязим-бек, – никого не выпущу! Настоящий кутеж только теперь и начинается.

– Господа, – объявил Гриша, – я отказываюсь от обязанностей тамады.

– Да здравствует республика! – рявкнул кто-то.

– Молчать! – заорал офицер.

Снова зашипело шампанское и заиграли сазандары. Пиршество превратилось в оргию, какой Смбат и представить не

мог.

Папаша скинул сюртук, швырнул его на головы сазандарам и принялся откалывать «карабахскую». За ним – Мовсес и Мелкон. Князь Ниасамидзе гаркнул: «Лекури!» – и, подбрав полы черкески, пустился в пляс, развевая широкую бороду. Поднялась невероятная суматоха, так что ничего нельзя было разобрать, – каждый самого себя только и слышал.

Расстроенный Кязим-бек сердито кусал усы, надула, сукина дочь, ничего у нее не болело, удрала, чтобы никому не достаться на ночь. Завтра потребуем объяснения – если притворялась, мы ее проучим. А уж проучить Кязим-бек сумеет на славу. В день бенефиса он скупит билеты первого ряда и раздаст уличной голи. Как только певица появится на сцене, вся эта орава начнет свистать, шикать, выть, швырять в нее гнилыми огурцами, апельсинными корками, тухлой рыбой, дохлыми крысами... Вот тогда она и поймет, что с кавказцами шутки плохи. А пока надо придумать для гостей какое-нибудь исключительное развлечение.

Для начала Кязим-бек заставил хористку подбежать к Папаше и вскочить ему на спину. Шутка удалась. Все захохотали, хватаясь за животы. Потом он приказал слугам: – Ванну сюда!

– О-о-о! – воскликнули все в один голос, угадывая пикантную затею.

Исчезновение примадонны разом отрезвило всех, и теперь, в предрассветный час, каждый осознавал свои поступ-

ки. Один Смба́т был как в тумане и не столько от вина, сколько от непривычной обстановки. Он смотрел, но видел неясно и озира́лся то на того, то на другого. У всех на лицах читалось ожидание чего-то небывалого, необычайного, и это ощущение возбуждало с новой силой, тормошило уснувшие страсти. Все знали, что когда Кязим-бек в ударе, его причудам нет удержа и границ.

Папаша ухарски покручивал усы. Кровь этого пожилого кряжистого мужлана обладала свойством старого вина – не пенилась, а обжигала.

В дверях послышался грохот. Слуги-лезгины, кряхтя и задыхаясь, притащили большую мраморную ванну, и вслед за тем появились корзины с шампанским. Жирные лица музыкантов засияли от удовольствия – не впервые им приходилось быть свидетелями невообразимых проказ Кязим-бека.

Ванну поставили посреди комнаты.

– Кябули! – крикнул хозяин музыкантам, вскочил в ванну и, выхватив кинжал, стал плясать.

Он кружился, изгибался, выпрямлялся, подпрыгивал, подносил к глазам лезвие кинжала и проворно засовывал его под согнутое колено, вызывая общее изумление. Отплясав, Кязим-бек выскочил из ванны, вложил кинжал в ножны, подошел к хористке и облапил ее своими мощными руками.

Уже светало. Однако люстры еще продолжали гореть. Папаша приспустил занавески на окнах и велел слугам удалиться. Присутствие слуг оскорбляло «порядочность» Папаши.

Только теперь сообразил Смбат, свидетелем какого зрелища придется ему быть. Хотелось уйти, но неведомая, непреодолимая сила по-прежнему удерживала его.

– Караул! Помогите, караул! – вопила хористка.

Но Кязим-бек уже не помнил себя. Кое-то из гостей пытался отговорить хозяина от беспутной затеи, хотя в то же время всех тянуло посмотреть на это пикантное зрелище.

– Кто в бога верует, спасите! – кричала хористка дребезжащим, неприятным голосом.

Офицер, стоя поодаль, крутил усы:

– Вот это я понимаю, вот это значит кутить помосковски...

Не легко было вырвать хористку из цепких объятий Кязим-бека. Он уже раздевал несчастную, крича, чтобы остальные лили шампанское в ванну.

Поруганная женская честь и безобразное зрелище принудили Смбата вмешаться. Он попросил Гришу заступиться за девушку. Года два назад Гриша первый подал подобный пример, выкупав проститутку в пиве; потом она заболела и чуть не умерла от воспаления легких.

– Разве тебе не хочется посмотреть?: – спросил Гриша с удивлением.

– Нет, это дико, подло, возмутительно!

– Да ведь Кязим-бек для тебя же и старается.

– Я не желаю, меня тошнит! – воскликнул Смбат возмущенно. – А если ты боишься Кязим-бека, рассчитывай на

меня.

Самолюбие Гриши было задето. Чтобы он боялся кого-нибудь? Да ведь эта чертовка, поди, рада искупаться в шампанском, только ломается, чтобы набить себе цену.

– Не допускай, прошу тебя, – настаивал Смбат.

– Ладно.

Гриша подошел к хозяину и положил ему руку на плечо.

– Кязим, оставь эту женщину, хватит.

– А ты кто такой будешь? – огрызнулся Кязим-бек, сверкнув глазами.

– Я Гриша.

– Проваливай!

– Прошу тебя...

– Отвяжись...

Теперь уже всеобщее внимание было устремлено на Гришу. Он был единственный человек, которого Кязим-бек побаивался. Было заметно, что Гриша уже теряет хладнокровие.

– Прошу тебя, Адилбеков, – снова попытался он уломать хозяина.

– Заткни глотку, – заревел Кязим-бек, – что захочу, то и сделаю.

Гриша сильной рукой оттолкнул его и, заслонив собой хористку, бросил на Кязим-бека гневный взгляд.

– Ты забыл, что я – Гриша? – процедил он сквозь зубы, выхватывая револьвер.

Кязим-бек очнулся – не от страха, а от стыда: разве пристало хозяину вздорить с гостем из-за какой-то потаскушки?

– Ну, да ладно, я пошутил. – И он крикнул слугам: – Убрать ванну!

Хористка, вырвавшись из железных рук Кязим-бека, полураздетая, задыхаясь, бросилась на тахту.

«Сеанс» был сорван, но никто не посмел выказать неудовольствие. Кязим-бек позволил хористке уехать, сунув ей две сотенных и приказав слугам положить в экипаж полдюжины шампанского.

– Дома сама примешь ванну.

Хористка засмеялась, сразу позабыв о происшедшем. Она даже поцеловала Кязим-бека и выпорхнула, вне себя от радости.

– Микаэл, не пора ли? – обратился Смбат к брату.

– Остается финал.

Было уже совсем светло, хотя солнце еще не взошло.

Гости в сопровождении музыкантов выбрались на улицу. Теперь компанией верховодил Мовсес. Удивительная была у него натура: чем больше другие пьянели, теряя рассудок от винных паров, тем крепче он себя чувствовал. Теперь он был неузнаваем: говорил больше всех, пел, шутил, прыгал.

Стояла тихая, теплая погода. В зеркальной морской глади отражался темно-синий купол неба. Направо, в стороне так называемых Черного и Белого городов, поблескивали тысячи электрических огней, постепенно исчезающих при свете

набегающего утра. Дым, подымаясь столбами из несчетных заводских труб, заволакивал небо черным туманом. Справа виднелся Баиловский мыс с его морскими казармами и красивой церковкой, луковки куполов которой темнели на чистом небосклоне и как будто безмолвно перекликались с творцом. А там, еще дальше, за горой, щетинились стрельчатые нефтяные вышки.

По улицам уже двигались рабочие и мастеровые – одни грустно и понурясь, другие – бодро, иногда с песнями. Доледали отголоски заводских гудков, то глухие, точно рыканье льва, то пронзительные, как змеиное шипенье. Алебастрового оттенка пар, на мгновенье сверкнув в воздухе, незаметно разлетался. Вдали на горизонте вставало пламя – должно быть, горел завод: яркие вспышки огня прорезывали черные клубы дыма.

Но вот, наконец, из-за Апшеронского полуострова поднялось багряное солнце, похожее на гигантский кубок литой бронзы, медленно, гордо, уверенно, как властелин вселенной, купаясь в своем сиянии, как в огненном море. Гряды высоких облаков загорались подобно труту, озаряя небосвод. Лучи этого пламенного океана рассеивались на небе, прогоняя последние остатки ночной темноты. Золотились мачты, паруса, фасады домов, оконные стекла, нагие песчаные холмы, кладбище с гробницами, кустами и огромная башня – памятник трагической гибели легендарной девушки.

Звезды незаметно теряли свой блеск, электрические огни гасли, шум и грохот усиливались... Парусники и пароходы, дремавшие на якорях после летних рейсов, сиротливо покачивались на глади моря, словно гигантские лебеди. Молодые рыбаки приводили в порядок свои снасти, собираясь добывать хлеб насущный. Матросы, распевая, мыли палубы, и в их песне чувствовалась необъятная сила водной стихии. На длинных деревянных пристанях, заваленных грудями тюков и бочек, работали, разгружая и нагружая пароходы, тысячи грузчиков, вечно согбленных, вечно потупленных, как бессловесные животные.

Сказочной музыкой мерно зазвенели бубенчики. Это верблюды длинной вереницей поднимались песчаной горой по узкой тропе, ведущей далеко-далеко, куда еще не успели проникнуть пар и электричество. Эти караваны мысленно переносили человека в библейские времена. А там, налево, бесчисленные пароходы и заводы надменно возвещали о мощи современной цивилизации. С одной стороны – Азия, с другой – Европа. Совершеннейший хаос контрастов, где новое насмерть борется со старым.

Смбат наблюдал это бесподобное зрелище и умилялся. Но восторг его отравляла капля горького яда. Чарующее пробуждение природы напоминало о раннем увядании его собственной жизни, и он забыл обо всем: о Микаэле с его компанией, об отцовских делах, о подложном и подлинном завещаниях, о становящихся со дня на день все назойливее

угрозах брата, – он помнил только о своих детях! О, он был бы бесконечно счастлив, живя полунагим, полуголодным, но свободным от семейных пут...

Усталый, присел Смбат на скамейку у берега моря, – усталый, но не от вина и бессонной ночи, а от душевных мук. Куда ни глядел он, везде перед ним возникали две пары детских глаз, немым укором терзавшие его. Нет, нет, Смбат никогда не бросит их на произвол судьбы, никогда не расстанется с ними: ни родительское проклятие, ни мать, ни религиозные предрассудки – ничто не сломит его воли.

Кругом хлопотливо щебетали воробьи в поисках пищи.

Птички и те озабочены, а эта пьяная ватага людей тащится по набережной, с виду беспечная и беззаботная, на деле же пресыщенная жизнью. Для них день только кончается и начинается ночь; день, отравленный излишествами и пьяным угаром, ночь – изнуряющая, подтачивающая здоровье.

Впереди играли и распевали сазандары, а за ними тянулась вереница порожних извозчиков в надежде развезти кутил по домам и получить щедрую мзду. Проходившие рабочие и мастеровые не удостоивали кутил даже взглядом. На бледных, худых лицах этих эксплуатируемых и угнетенных людей выразалось презрение честных тружеников к дармоедам. Никого из них не интересовало это зрелище – заводские гудки властно звали их к труду, им нельзя опоздать ни на минуту.

Вдруг три носильщика, бегом протискавшись сквозь тол-

пу, очутились впереди. Поднялся хохот. Иные стали рукоплескать, а кое-кто швырять в них камнями. Азиатские музыканты заиграли европейский марш.

На спинах грузчиков сидели Гриша, Мовсес и Микаэл. Размахивая шляпами и дико завывая, они нещадно колотили ногами в живот и бока грузчиков, превращенных в животных. Да отчего и не потешиться, ведь они заплатили им по рублю – двухдневный заработок поденщика. Пусть себе тешатся господа, господам все разрешается...

Смбат молча всматривался вдаль, где в легком утреннем тумане четко вырисовывался небольшой островок. На днях из-за этого островка покажется пароход, который привезет его детей и жену – его радость и горе.

На минуту отвернувшись, Смбат заметил юношей, с пением и криком спешивших к одной из морских купален. Кто-то отделился от компании и стал быстро удаляться. То был Аршак, младший брат Смбата, – ученик реального училища, в штатском платье. Смбат бросился за юношей и нагнал его.

– Что ты тут делаешь в такую рань?

– А ты-то сам что делаешь? – дерзко ответил юноша, вырывая локоть из рук брата.

– Значит, и ты начал?

– Так же, как и ты. Только я начал вовремя, а ты опоздал.

Дерзкий ответ брата не столько возмутил, сколько смутил Смбата.

– Пошел домой! – крикнул он.

– А тебе какое дело? Ты думаешь, я от тебя убежал. Кто ты такой, какие у тебя права надо мной! Мой старший – Микаэл, я от него убежал.

У Смбата руки ослабели, он выпустил юношу. «Вот оно что! Значит, Марутханян и его сбил с пути, восстановил против меня!..»

Аршак убежал, присоединился к товарищам и вошел в купальню. Ночь напролет он кутил, опьянел, раскис и теперь собирался освежить себя купаньем.

Компания Микаэла решила прокатиться по морю. Взяли две причудливо раскрашенных лодки и расселись вместе с музыкантами. Как ни упрашивали Смбата, он остался на берегу – свинцовая тяжесть давила ему сердце. А не лучше ли было бы и для него провести юность и молодость подобно этим людям? Тогда он, наверное, избежал бы непоправимой ошибки. У них нет нравственного критерия, но они еще могут исправиться – еще довольно времени и возможностей у них стать на истинный путь. А он? Ах, какое было бы счастье остаться под крылом родителей, пусть даже невеждой, но избежать на чужбине встречи с той, которую он как будто бы любил и вызывал ответную любовь, теперь перешедшую во взаимную ненависть.

Уж не телеграфировать ли ей, чтобы не выезжала? Но как быть тогда с детьми, этими милыми и невинными существами?

8

Никогда еще в доме Алимьянов не бывало такого множества незваных гостей, как на сороковинах по Маркосу Алимьяну.

Прежде всего не замедлил пожаловать глава епархии и снова повел разговор о нуждах церкви. Необходимо в одном из сел построить церковь, не то погибнет сельский приход. Уже проникли в это село лютеранские миссионеры и таскают поодиночке невинных агнцев из Христова стада.

Вдова Воскехат вручила владыке кругленькую сумму. Три дня спустя в одной из газет появилось благодарственное письмо «в назидание всей пастве», за подписью его преосвященства.

Явились один за другим отец Ашот и отец Симон. Первый вытащил из своего широкого рукава подписной лист и положил перед Смбатом. Надо пожертвовать некоторую сумму «на издание бессмертных творении выдающегося публициста»; не явись этот замечательный публицист на свет божий – наверняка погиб бы армянский народ. Второй в мрачных красках обрисовал материальное положение одного редактора, без стойкой помощи которого неминуемо рухнула бы армянская церковь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.